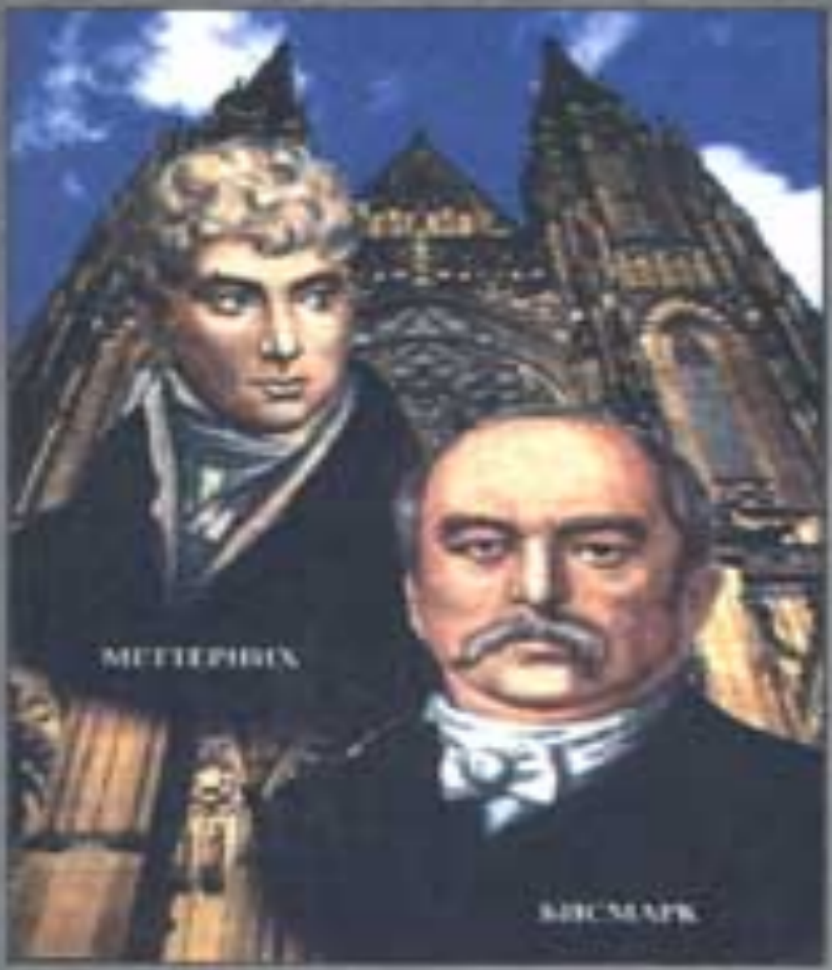
Исторические Силуэты

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПОЛИТИКИ



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книге подробно рассказывается о жизненном пути крупного государственного деятеля на поприще политики, войны и дипломатии. Клеменс Меттерних известен как искусный дипломат и интриган, канцлер Австрийской империи. Был яркимпротивником объединения Германии и укрепления позиции России в Европе, вдохновителем и организатором Священного союза.

- МЕТТЕРНИХ
  -
  - ПЕРЕЛОМНЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ. МОЛОДОЙ МЕТТЕРНИХ
  - ГЛАВНАЯ ВСТРЕЧА: НАПОЛЕОН
  - КУЧЕР ЕВРОПЫ
  - ЛЕКАРЬ РЕВОЛЮЦИЙ
  - КАНЦЛЕР ДОМА, ДВОРА И ГОСУДАРСТВА
  - НА ХОРАХ ВРЕМЕНИ
  - МЕТТЕРНИХ-ЧЕЛОВЕК
- notes
  -

МЕТТЕРНИХ
КУЧЕР ЕВРОПЫ – ЛЕКАРЬ РЕВОЛЮЦИИ
Петер БЕРГЛАР

Хотя во все времена, в любых положениях я всегда был человеком “порядкам, мои стремления были обращены к подлинной, а не обманчивой “свободе”. Тирания любого рода в моих глазах – симптом слабости. Там, где она появляется, она выносит приговор сама себе. Но наиболее невыносима она там, где прячется под маской поборника свободы.

ПЕРЕЛОМНЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ. МОЛОДОЙ МЕТТЕРНИХ

Когда необходимо представить на немногих страницах государственного деятеля, который дожил до 86 лет и из них ровно 50 находился в центре европейской политики, человека, который не только пережил, но и принял решающее участие в самом значительном историческом переломе со времен Реформации, то речь может идти лишь о зарисовке, а не о полотне, лишь об эскизе с несколькими сочными штрихами, которые определяют контур, слегка оттененный и чуть подкрашенный. Как рисунок является экстрактом всей увиденной действительности, идеей воплощенной целостности картины, так и эта краткая биография Меттерниха концентрирует в себе огромную массу событий и течений в период от гибели старого режима до возникновения нового технико-индустриального мира. Это эссе – попытка уловить сокровенный смысл той переходной эпохи.

Клеменс Венцель Лотарь граф Меттерних родился 15 мая 1773 года в Кобленце. Меттерних был рейнландцем и оставался им в глубине души всегда, хотя в общественном сознании он остался австрийцем, точнее, венцем. Его полная фамилия по отцу – Меттерних-Виннебург. Его отец Франц Георг Карл не получил ни у современников, ни у историографов особо высокой оценки, по духу и характеру самый обычный человек; несмотря на это он стал (показательный пример огромной власти традиций, которые служили опорой и основой для слабых и позволили ему найти свое место в хорошо отлаженном окружающем мире) государственным министром и наследственным камергером на службе князей церкви Трира и Майнца. В год рождения своего первого сына он в возрасте 27 лет перешел на императорскую дипломатическую службу, стал тайным советником, министром при дворах Трира, Кельна, позднее Майнца и Нижнерейнско-Вестфальского имперского округа; в последующие годы он уже полномочный министр правительства Австрийских Нидерландов (1791-1794 гг.), императорский посланник на Раштаттском конгрессе (1797-1799 гг.). Кажется почти символическим, что юридически союз с австрийским домом был заключен тогда, когда в “колыбели” лежал новорожденный дипломат, которому предстояло стать спасителем или “демоном” (Виктор Библ), в любом случае, судьбоносным для этого дома человеком.

Как часто бывало в семьях выдающихся людей – Наполеона,

Гете, братьев Гумбольдт, Бисмарка, – мать Клеменса Лотаря была более энергичной и значительной, чем отец. Графиня Мария Беатриса Алоизия, происходившая из древнего рода Кагенегг в Брейсгау, моложе своего мужа на девять лет и на десять лет пережившая его (1755 –1828 гг.), изображается как красивая, одухотворенная, любезная, сердечная и способная на страсть, и вместе с тем честолюбивая и не чуждая политических интриг женщина. От нее сын унаследовал живой интеллект, властолюбие, соблюдение существовавших в высшем обществе общечеловеческих правил, остроумие (иногда едкое), и прекрасную внешность. В течение всей жизни эти светлые стороны спорили в его натуре с темными: со своеобразной вялостью Меттерниха, сибаритством, высокомерием и – несмотря на всю его старательность – недостаточной творческой силой. Действительно, никто не является просто смесью отца и матери; чудо каждой индивидуальности заключается в таинственной формуле суммы всех предшественников, дарованной Богом единственности и совокупного воздействия окружающего мира.

Для Меттерниха это означает: он был отпрыском древнего рейнского дворянского рода из дома Гемберг, одна из ветвей которого с конца XIII века называла себя по деревне Меттерних под Эйскирхеном. Из этой линии, которая в 1635 году была возвышена до имперских баронов, а в 1679 году – до имперских графов, в XVI-XVII веках вышли трое князей церкви. В качестве возмещения за утраченные по левому берегу Рейна владения Меттернихи в 1803 году стали курфюрстами секуляризованного бенедиктинского монастыря Оксенхаузен, территория которого включала четыре административные единицы с 35 деревнями и примерно одиннадцатью тысячами жителей. Это также вписывалось в традиции рода, отмеченные рейнско-югозападногерманским “имперским величием” с его церковными княжествами и владениями орденов, всей этой пестрой смесью церковных и светских территорий, как и дарение позднее, в 1816 году, великолепно расположенного замка Иоганнисберг в Рейнской области. Хотя к этому времени сорокатрехлетний Меттерних, находившийся на вершине своей власти, уже совершенно превратился в “австрийца”, все же он был “австрийцем с Рейна”. Он писал своей дочери Леонтине: “Рейн течет в моих жилах, я ощущаю это и потому прихожу в восторг от его вида”.

Бытие, определенное чередой предков, связано со становлением в потоке современности. Человек становится тем, что он есть; но он также есть то, чем он становится – в детстве и молодости, от рождения примерно до 25 лет. До этого возраста –

а возможно, и раньше, – протекают все этапы развития личности; все, что последует за этим, – всего лишь “вариации на тему”.

Какими же были эти первые двадцать пять лет Меттерниха? Его юность пришлась на период агонии старой империи, которая, в свою очередь, была лишь частью процесса преобразований, охвативших всю Европу и распространившихся на все сферы жизни.

XVIII столетие, которое закончилось во Франции в 1789 году революцией, в Англии протекало эволюционно гладко, а в Германии жило приближением распада, предстает перед нами в таком переливчатом многообразии, что можно отметить только основные, ключевые моменты. На мировой политической арене произошла смена великих держав: Испания, Швеция, Нидерланды отошли на второй план либо внезапно, как Швеция, либо постепенно, как Испания, и их место заняли Англия, Франция и Россия; тем самым закончился процесс, начавшийся уже на исходе XVI века. На внутриевропейском пространстве кроме того появились две новые великие державы: Австрия и Пруссия. Война за испанское наследство (1701-1713 гг.) и Северная война (1700-1721 гг.) изменили порядок расстановки мировых держав; ту же роль сыграла Семилетняя война (1756-1763 гг.) в рамках империи. Австро-прусский дуализм, который был установлен Губертусбургским миром, имел свои корни в северо– и южнонемецком протестантско-католическом ничейном исходе Тридцатилетней войны, определил не только судьбы Германии на последующие сто пятьдесят лет, но и все развитие Европы. Можно как угодно оценивать попытки реорганизации империи, планы союза князей, безусловно существовавший “имперский патриотизм” духовного и низшего светского германских сословий в последней трети века – фактом остается то, что Австрия, габсбургский конгломерат стран, и Пруссия, внушающее уважение искусственно-волевое образование на европейской карте, переросли рамки империи, этого огромного реликта средневековья, и должны были ее взорвать. Империя рухнула не из-за революционных войн, не из-за Бонапарта, нет, она погибла из-за той взрывной силы, которая скопилась в составляющих ее частях за период более чем полутысячелетнего развития до суверенных территориальных государств.

С политической точки зрения XVIII век ускорил национальное разобщение европейских народов, пока на рубеже XIX века они не вступили в эпоху национальных государств, последовательным продолжением которой стал империализм; тем не менее он производит положительное впечатление своим духовно-культурным единством. Рационалистическое Просвещение было

ответом неверия на вырождение веры; преодолением раздирающих общество религиозных конфликтов с помощью безразличия к религии, которое создавало новое единство; ориентацией возникающего гражданского общества на единую точку отсчета, “научный” разум; оно стало общеевропейским движением, от Мадрида до Петербурга. В его недрах происходило все, что потом, иногда с боями, создало Европу и мир сегодняшнего дня: подъем естественных наук, техники, промышленности; демократические, либеральные, частично и раннесоциалистические теории государства, общества и экономики. Просвещение и абсолютизм вступили в союз; этот союз и есть основная определяющая характеристика столетия. Просвещенно-абсолютистские властители, как, например, Фридрих Великий, Иосиф II, Леопольд Тосканский и другие, – которые поставили принципы разума на место принципов религии – не только реформировали свои государства, но и подготовили почву для зарождающегося буржуазного общества, в котором подлинной ведущей силой стали не трон и алтарь, а наука, капитал и производство.

Меттерпих был и оставался продуктом XVIII века – века Просвещения. Но у этого века была и другая сторона: кокетливое рококо, почтительное благочестие, открытие природы как духовной ценности и чувственной силы, освобождение бьющего ключом индивидуализма, осмысление и развитие “народного духа”, но прежде всего и включая все перечисленное: рождение романтизма – среди века благоразумия – в произведениях Руссо и Гердера. Чтобы понять Меттерниха, следует отметить, что он почти не был затронут романтизмом. Среду, в которой произрастал юный аристократ, Србик пластически изобразил как смесь внешней религиозности, светскости и пышности, ренессансного изобилия, реликолепия красок и женщин, вольнодумной салонной жизни, просвещенного отношения к церкви, школе, университету; замкнутое в самом себе дворянское общество, в котором на равных сосуществовали французская философия, заигрывание с ниспровержением всего и вся, культура и вкус, но вместе с тем надменность, легкомыслие, фривольность; к тому же “застывшие социальные отношения”, а за пределами дворцов – “малообразованное среднее сословие”. Конечно, не правомерно было бы утверждать, что после 1814 года Меттерних хотел возродить этот мир – он был слишком умен, чтобы не знать, что не может быть возврата к прошлому, однако как человек и как политик он всегда был заключен в далекую от народа сферу салонов и кабинетов, дипломатических уловок и тактических сделок.

После того как мальчик перерос домашних учителей и гувернеров – аббата Бертрана и протестантского педагога Иоганна Фридриха Симона, он – пятнадцатилетний, отдалившийся от христианской веры, полный идей Монтескье, Вольтера, Руссо, получивший подготовительное образование в духе недетски-рационалистической педагогики Кампе и Базедова, – вместе со своим младшим братом Иосифом в ноябре 1788 года поступил в Страсбургский университет. Когда говорят об обучении в конце XVIII века, то его нельзя понимать как учебу в нашем теперешнем представлении. Молодые люди, неважно, дворянского или буржуазного происхождения, “слушали” различные предметы: “гуманитарные науки”, юриспруденцию, историю, философию, находившиеся тогда в стадии становления естественные дисциплины; не было обязательного утвержденного учебного плана, обязательных экзаменов, а также установленных и контролируемых государством экзаменов. В конце учебы студент становился “доктором”, “лиценциатом” или “магистром”, а иногда – причем довольно часто, – и никем. Профессиональное будущее и материальное благополучие, которые не были взаимосвязаны так тесно, как сегодня, зависели не от каких-то сертификатов, а от унаследованной собственности, от общественного положения. Ни у Гумбольдта, ни у Меттерниха не было свидетельства об окончании учебы; их место в обществе определило их дальнейший путь. У такого молодого человека из знатной семьи, как Меттерних, учеба была подстрахована доходами семьи, а его будущий жизненный путь определяли родители, высшее духовенство, военная или государственная служба, занятия недвижимостью. В случае Меттерниха – дипломатия.

Два года Клеменс Лотарь посещал Страсбургскую Высшую школу, где его самым главным учителем стал Кристоф Вильгельм Кох, учениками которого были также Талейран, Бенжамен Констан и Монтжелас (Montgelas). Кох считался международно признанным авторитетом для будущих дипломатов. Он усвоил принятую в Страсбургском университете тех лет духовную позицию: широкая образованность в общепринятом смысле, симпатии к Франции, равнодушие к “империи”, традиционное понимание государства с точки зрения формального права. Осенью 1790 года Меттерних перешел в университет Майнца, где он оставался до лета 1792 года. Здесь профессор истории Николаус Фогт оказал решающее влияние на формирование личности молодого человека, на выработку его мировоззрения и понимания истории. Фогт принадлежал к новому поколению историков, которые стремились “приблизить историю через

конкретные условия службы к практике” и рассматривали ее как ход развития человечества – с философских позиций в духе Гердера. Именно потому, что Фогт не был ни рационалистским просветителем, ни сентиментальным мечтателем, а занимал среднюю позицию, консервативную и ориентированную на историческую практику, он стал важнейшим наставником Меттерниха, о котором, как и о Кохе, он всегда вспоминал с благодарностью.

В 1792-1794 годах Клеменс был на полуофициальном положении рядом с отцом, “руководящим полномочным министром при генеральном правительстве Австрийских Нидерландов”. Разумеется, на становление молодого человека оказало определенное влияние то, что свои первые шаги в управлении государством, первые впечатления от политических будней он получил в период революционных смут, на практически потерявшем свое значение посту, при полном расстройстве внутренних дел, рядом с посредственным рутинером. Здесь он понял роль интриг, полицейского аппарата, шпиков, закулисных политических переговоров, а участие в Раштаттском конгрессе в 1797-1799 гг, в качестве личного секретаря отца, а затем уполномоченного католической части вестфальской графской коллегии еще больше укрепило его складывающиеся убеждения. Весной 1794 года Меттерних находился при английском дворе, сопровождая правительственную делегацию. Полгода пребывания на острове имели большое значение, поскольку Меттерних не только завязал личные отношения с молодым Питтом, его противником Фоксом, с Берком и Греем, но и познакомился в общих чертах с миром, представлявшим такой контраст взбудораженному континенту. И хотя симпатии Меттерниха к Англии не превратились в англоманию, как у Генца или Адама Мюллера, а в более поздний период даже уступали место суровой критике, именно при этом первом знакомстве в нем зародилось диктуемое не только политической целесообразностью, но и личной склонностью желание сближения со здоровой в своей исторической основе и несокрушимой британской нацией.

Осенью 1794 года двадцатиоднолетний Меттерних впервые прибыл в Вену – отпрыск пострадавшего от революционных войск рода, сын министра без портфеля; психологический выбор курса будущего государственного деятеля уже сделан, и для понимания его большое значение имеет то, что здесь отсутствовало позитивное юношеское переживание революции, которое имело место у таких его наиболее выдающихся современников, как Новалис, Фихте, Фридрих Шлегель, Геррес, Бетховен, а также

“переживание обращения” к консерватизму. Меттерних не испытал драматических духовных и душевных переживаний, свойственных воодушевленным революцией немецким поэтам, философам и политикам, которые, пережив болезненный отход от своих иллюзий, стали представителями великого романтически-консервативного встречного движения в первой трети XIX века. На основании личных переживаний он с самого начала испытывал отвращение к революции. В этом отношении он рано состарился, быстро устал, и именно из-за этого он был отделен от своего поколения глубокой пропастью, пусть даже и скрытой.

По обычаю своего времени он женился на той, кого определили родители, которые делали выбор с точки зрения карьеры. Благодаря браку с графиней Элеонорой Кауниц (1775-1825 годы), внучкой великого государственного деятеля Австрии, дочерью принцессы Оттинген-Шпильберг, он получил доступ в самый узкий круг десяти или двенадцати семей, занимавших “bel etage” габсбургской империи. В браке, заключенном 29 сентября 1795 года в Аустерлице, любовь не принималась в расчет; но с умной, очаровательной, богатой женщиной девятнадцати лет можно было прекрасно жить. Такт, хорошее воспитание, аристократическое savoir-vivre старого режима вполне компенсировали недостаток любви и верности. Неудивительно, что после такого брака политическая и дипломатическая карьера молодого супруга повернула вправо. После Раштаттского инцидента, где он был второстепенной фигурой без какого-либо влияния, в 1801 году Меттерних прибыл в Дрезден в качестве австрийского посла, это была его первая должность, не слишком значительная, зато самостоятельная.

Ему было 28 лет, юность осталась позади, он стоял в начале пути, который вел круто вверх и в течение восьми лет сделал его руководителем внешней политики империи. Если бы в этот момент, находясь, так сказать, рядом с ним, мы могли бы оглянуться кругом, то увидели бы Европу в состоянии непрерывного глубочайшего брожения: революция у западного соседа, которая разрушила тысячелетнее феодальное общество, превратилась в военную диктатуру, которой окрепшая благодаря революции и сытая буржуазия добровольно покорилась, устав от страха и неуверенности, надеясь на то, что “твердая рука” гениального молодого диктатора гарантирует мир, спокойствие, безопасное пользование нажитым. Карта Европы изменилась: область господства Франции распространилась до Рейна, который стал теперь ее восточной границей, и включала Нидерланды, Швейцарию, большую часть Италии. Однако политическая аморальность и жажда захватов были характерны не только для

революционной Франции, но и для старых европейских монархий: без войны, просто путем разбойничьего сговора, Россия, Пруссия и Австрия поделили между собой несчастную Польшу (1772,1793,1795 годы). Почти десятилетие Австрия участвовала в различных коалициях против Французской республики – для себя и для империи, которая ей скорее мешала, чем помогала; несмотря на отдельные успехи, это был путь от поражения к поражению, и он не кончался еще много лет. Борьба за существование не сплотила империю, а ввергла ее в окончательную агонию: в 1795 году Пруссия попыталась с помощью Базельского мира избежать судьбы этого “монстра”, как называл ее некогда Пуфендорф, и упрочить свое господствующее положение на севере Германии с помощью нейтралитета, который соблюдала бы Франция. Еще до формального конца империи она была практически мертва, поскольку две ее могучие опоры, Пруссия и Австрия, разорвали старые рамки и превратились в европейские державы. Молодой посланник при саксонском дворе служил государству, само существование которого находилось в постоянной опасности и спасение которого зависело от реформ Марии Терезии, проводимых ею упорно и терпеливо, Иосифа II, Леопольда II, от крайне противоречивых отношений Наполеона к габсбургской империи и, в конечном счете, от дипломатического мастерства рейнландца, ставшего австрийцем, – но все это еще было скрыто за завесой будущего.

ГЛАВНАЯ ВСТРЕЧА: НАПОЛЕОН

Немало великих исторических биографий берут свое начало в поражениях, в неблагоприятных ситуациях, будь это целые системы или отдельные их элементы; так произошло с Цезарем, Октавианом, Валленштейном и Кромвелем, а также с Бисмарком, Лениным, Черчиллем и Аденауэром. Определенная ситуация крушения, когда кажется, что исчерпаны и средства, и люди, становится трамплином для “человека часа”. Это относится к двум великим противникам на европейской сцене – Наполеону и Меттерниху, которые в конечном счете вели борьбу за будущее Европы. Общим для них, как бы ни были они различны во всем, было то, что оба являлись наследниками: один, корсиканский генерал, – Французской революции и пожинающей ее плоды Директории, а другой, рейнско-венский дипломат, – проигранных войн, губительной политики несчастных предшественников.

Когда в 1803 году Меттерних перебрался из Дрездена в Берлин, где молодая королевская чета, Фридрих Вильгельм III и Луиза, пробудили у многих патриотов надежду на обновление государства, он в прекрасной резиденции на Эльбе сделал важное приобретение: знакомство с Фридрихом Генцем, которое произошло в 1802 году, переросло в дружбу на всю жизнь, в которой до самой смерти гениального публициста оба в равной мере и давали, и получали друг от друга; они были близки духовно, политически, а также по стилю частной амурной и роскошной жизни, несмотря на некоторые различия. Генц (1764-1832 гг.) в последующие годы стал одним из главнейших советников Меттерниха; “переход в другую веру”, вызванный знакомством с сочинением Эдмунда Берка (“Reflection on the Revolution in France”), превратившим его из сторонника революции в ее противника, сделал его одним из отцов немецкого консерватизма. Обоснованная именно им взаимосвязь между “консерватизмом” и “реставрацией”, которая стала судьбой немцев, еще и по сей день не решена до конца.

На те три года, которые Меттерних провел в Берлине, приходится главное решение имперской депутации (1803 год), которое упразднило церковные территории и тем самым разрушило структуру империи, выбило основу из-под ног императора и окончательно превратило светские германские сословные владения в автономные территориальные государства. Из этого факта, а также из продолжающегося почти десятилетия отпадения Пруссии от империи и, наконец, перед лицом предстоящего провозглашения “empire”, Франц II, римско-

германский император, сделал вывод: с 1804 года он стал императором Австрии Францем I. Уже этот шаг, а не декларация Рейнского союза, был шагом к распаду империи. 6 августа 1806 года, после того как шестнадцать немецких государств объявили о своем выходе из империи и объединились в Рейнский союз под протекторатом Наполеона, Франц сложил с себя корону германского императора, которая восемь с половиной столетий была символическим центром Запада.

В это же время, в первые дни августа, в Париж прибыл новый посол Австрийской империи. Он прибыл как представитель побежденной державы ко двору победоносного, все более смело выступающего императора. Наголову разбитая 20 ноября (2 декабря) 1805 года под Аустерлицем Австрия вынуждена была заключить Пресбургский мир, который стоил ей пятой части территории – завоеванных только в 1797 году венецианских территорий, Форарльберга, Тироля, всех переднеавстрийских владений; она была также вынуждена признать новое великое герцогство Баденское и превратившиеся в королевства, увеличившие свою территорию Баварию и Вюртемберг; кроме того, она должна была выплатить в виде контрибуций 40 миллионов флоринов. Таким образом, положение было отнюдь не блестящим, когда 10 августа 1806 года Меттерних впервые предстал перед Наполеоном: тем великолепнее была обстановка в Сен-Клу, где император принял его с соблюдением всех церемоний. Инструкция, которую новый австрийский министр иностранных дел граф Иоганн Филипп Штадион (1763-1824 гг.) дал своему парижскому посланнику, была нацелена на установление дружеского согласия между двумя державами; впрочем, при этом Вена понимала основные положения “взаимности” как отношения равных, в то время как Наполеон требовал открытого присоединения к его политике, направленной в тот момент против России и Пруссии.

Парижские годы (1806-1809) являют нам колеблющегося, неуверенного в политических суждениях, даже заблуждающегося Меттерниха, но вместе с тем популярного в обществе дипломата с широко разветвленными связями, природным достоинством, непоколебимым хладнокровием во всех, даже тяжелейших ситуациях. Именно последнее качество, которое его никогда не покидало, составляло его особую силу, и это объединяло его с французским коллегой Талейраном: он, который с 1807 года постепенно перешел в лагерь оппозиции, а с 1808 года становился все более опасным скрытым врагом Наполеона, несет свою долю вины за ошибочные политические выводы Меттерниха. Если после третьей проигранной союзниками войны Меттерних был

исполнен мрачного пессимизма и видел для габсбургского государства единственный шанс выжить в тесном примыкании к Франции, подозрительно напоминавшем вассальные отношения, то мало-помалу, не в последнюю очередь из-за ошибочного впечатления, что во Франции существует влиятельная оппозиция, которая может серьезно воспрепятствовать императору-выскочке или даже угрожать ему, а также переоценивая “второй фронт” в Испании, он постепенно перешел в лагерь “реваншистов” и даже стал одним из столпов венской партии войны. Нужно просто принять как факт, что во главе австрийской внешней политики стоял уже зрелый Меттерних, способный на реалистическую оценку соотношения сил, на глубокий анализ европейской ситуации после 1809 года, после неоднократных горьких поражений своей страны, вина за которые в какой-то степени лежит и на нем. Впрочем, заблуждения соседствовали у посла со здравыми суждениями: что русско-французское единение в Тильзите будет недолговечно; что Наполеон в своей борьбе против Англии будет вынужден в военных целях овладеть всем континентом, то есть включить в свою систему и Россию; что она не сможет надолго включиться в континентальную блокаду без ущерба для себя – все это было верно и означало надежду для Австрии. В 1808 году Наполеон казался на вершине своей власти. В Эрфурте, бок о бок с царем, с которым он обращался как с младшим партнером и одновременно обволакивал лестью, он провел смотр войск вассалов. Тальма играл перед “партером королей”. Однако эрфуртская встреча “большой двойки” стала не только демонстрацией императорского блеска, но и часом рождения предательства. Талейран начал здесь свою двойную игру: он предостерег Александра I, воодушевил его на сопротивление новому “корсиканскому другу”, даже довел до его сведения стремление Франции к мирному возвращению в “естественные границы”, заставил его поверить в пресыщенность войнами и захватами и уже тогда помог укрепиться в нем ростку русско-французского конфликта 1812 года и более того: непоколебимости России. То, что Александр затем в 1812 году не использовал возможности сохранения мира, не пошел на мирные предложения Наполеона, дошел с войной до Парижа и довел ее до свержения соперника, в значительной степени основывалось на том представлении о Бонапарте, которое внушил ему Талейран. Царь всея Руси, неустойчивый и поддающийся влияниям – что не исключало мистически-экзальтированного упрямства, – постоянно поддавался влиянию более сильных – Талейрана, Каподистрия, фрау фон Крюденер, временами также и Меттерниха. Последний вместе с Фуше участвовал в интриге, с

помощью которой князь Беневентский пытался завлечь своего владыку, которому он до 1807 года служил в качестве министра иностранных дел, подобно мухе, в сеть, из которой не было спасения. Все это также питало его надежды на помощь русских против Наполеона, которые были жестоко разбиты в 1809 году, когда Австрия, полностью изолированная, на глазах боязливо сторонящейся Европы одна выступила против Наполеона.

Поражение, которое поставило под угрозу дальнейшее существование габсбургской империи, стоило руководителю внешней политики графу Иоганну Филиппу Штадиону его министерского портфеля – это понятно. Не совсем понятно, почему он достался именно тому его сотруднику, который принимал столь значительное участие в крушении. Как считает Србик, то, что "гибкий человек" подходил императору Францу больше, чем "упрямый и часто неудобный Штадион", наверняка правильно, однако решающим для этого назначения было нечто другое: в часы всеобщего уныния и растерянности, после поражения австрийцев под Ваграмом, которое бывший посол пережил вместе со своим императором, в исторический момент, когда речь шла о войне и мире и тем самым – о судьбах монархии, Меттерних впервые проявил, если не величие, то железные нервы, ясность ума и выдающуюся способность оценки ситуации и принятия соответствующего моменту решения. Не поддаваясь мужеству отчаяния Штадиона и интеллигентским страхам своего друга Генца, имея свое мнение в отличие от императора Иосифа, и не поддаваясь страстно-героическим порывам как императрица Людовика, отстраняясь от партии войны, но также и от "мира любой ценой", он нашел и показал путь к спасению: "терпимый мир" без капитуляции. Лишь это испытание, к которому удачно добавилось то, что победитель Наполеон соблюдал меру, было решающим для назначения министра иностранных дел в октябре. Пусть непрямо, но Наполеон помог своему великому противнику занять позицию, с которой последний мог повлиять на его судьбу. Но когда мы назвали эту главу "Главная встреча", то имели в виду ее обоюдное судьбоносное значение. Насколько это осознавали участники встречи, остается под вопросом; достаточно того, что это понимаем мы. С точки зрения французского императора Меттерних парижских лет был умным, тонко чувствующим нюансы дипломатом, в какой-то степени живым промежуточным пунктом для него, властителя Европы, в вопросах обмена информацией и финансирования Вены; и для первого, и для второго Меттерних был только "транзитом", только рецептором или распределителем, а не инициатором. Неважно, какой оценки

заслуживает его активное участие в политической жизни в период его бытности послом, – главным было то, что он никоим образом не мог повлиять на решения Наполеона и французского правительства, что он оказался в изоляции и, когда началась война, так же незаметно отбыл с Сены, как три года назад туда прибыл. Наполеон мог видеть в австрийском посланнике второстепенную фигуру большой политики; в 1813 году на тех знаменитых переговорах в Дрездене все было иначе. Теперь перед ним стоял авторитетный государственный деятель державы, вступление которой в войну могло иметь решающее значение. Запись разговора, который состоялся 26 июня во дворце Марколини, передана Меттернихом в “Архив”; независимо от необходимых сокращений, которые были проведены, она заслуживает величайшего внимания.

Он показывает Наполеона в состоянии слабости, попавшего в сети, которые раскинули вокруг него множество мелких и небольших противников, но прежде всего запутавшегося в себе самом, в закономерностях своего взлета и условиях своего господства. “Ваши властители, – так набросился император на министра, – рожденные на троне, могут двадцать раз позволить разбить себя и все же опять и опять возвращаться в свои резиденции, но я этого не могу, я, сын удачи! Моя власть ни на день не переживет тот момент, когда я перестану быть сильным и внушать страх”. Были ли слова такими или другими, их смысл – чистая правда. То же относится к реплике Меттерниха на замечание Наполеона, что он не может и не будет заключать мир, поскольку выиграл две битвы (при Гросгершене 2 мая и при Баутцене 21 мая): “Судя по всему тому, что Ваше Величество мне только что сказали, я вижу доказательство невозможности взаимопонимания между Вашим Величеством и Европой. Ваши мирные договоры были всегда только перемириями. И неудачи, и успехи толкают Вас к войне. Сейчас такой момент, когда Вы и Европа бросили друг другу вызов; и Вы, и Европа примете его, но в борьбе будет побеждена не Европа!” Точно неизвестно, действительно ли император, после того как Меттерних назвал его армию своего рода последним призывом, армией детей (“он побледнел, и его черты исказились”), “швырнул шляпу в угол комнаты” и закричал: “Я вырос на поле боя, и такой человек, как я, мало беспокоится о жизни миллиона людей!”, но и этой сцене присуща внутренняя правда. Самого себя Меттерних, когда много лет спустя писал свои заметки, стилизовал под, так сказать, “глас судьбы”, который возвещает завоевателю его жребий – причем весьма элегантный и остроумный “глас”: “Я оставался совершенно спокоен, оперся об угол подставки между окнами и

сказал, глубоко тронутый услышанным: ..давайте откроем двери, и пусть Ваши слова прозвучат от одного конца Франции до другого. Дело, которое я представляю, от этого не пострадает"". Это уход античного прорицателя, который мемуарист изображает для потомков: “Вы растеряны, сир, – живо вскричал я, – у меня было предчувствие этого, когда я шел сюда; теперь у меня есть уверенность”. А маршалу Бертье, который провожал его до экипажа, он якобы сказал: “Все, с ним кончено!”.

Решающая встреча: Наполеон, человек Средиземноморья, человек грубой творческой силы, завоеватель, наследник и укротитель революции и в то же время ее передовой боец и распространитель, катализатор Европы, который смешал старые традиции и юношеские стремления к будущему и высвободил из них силы разрушения, – он натолкнулся на Меттерниха, рейнландца-австрияка, человека продуманной дипломатической игры, германского графа древнего дворянского рода, который в то же время был насквозь пропитан французской рациональностью; у которого были скорее не позитивные наметки того, чего он хочет, а четкое представление о том, чего он не хочет; которому революция была противна уже из чисто эстетических соображений как нечто, оскорбляющее обоняние еще до того, как мозг и сердце вынесли свое суждение; он натолкнулся на него и потерпел крушение. Ибо когда 12 августа 1813 года Австрия примкнула к коалиции (Россия, Пруссия, Англия, Швеция), это означало для французского императора окончательное, необратимое поражение, для Меттерниха же было логичным ходом на политической шахматной доске в соответствии с планом всей партии. А начал он ее в 1809 году; достижение пусть сурового, но не гибельного для габсбургского государства договорного мира было первым шагом к коренному изменению соотношения сил в Европе. Необходимо было сохранить Австрию – пока ничего больше, и хотя это напоминало положение сателлита, важным было только одно: сохранение потенциальной возможности для будущего освобождения; этому служили годы “исполнительной политики”, 1810-1813, когда всемогущего императора приручила эрцгерцогиня, когда Франц I в 1812 году был вынужден засвидетельствовать своему зятю в Дрездене почтение и предоставить в его распоряжение тридцать тысяч человек для русского похода. Этот поход позволил сделать Меттерниху второй шаг: находясь формально в союзе с Францией, Австрия фактически придерживалась нейтралитета. Нейтралитет после зимней катастрофы Наполеона превратился в конце концов из скрытого в формальный, а затем вооруженный; летом 1813 года он уже выглядел как “вооруженное посредничество” и, как

следствие, объявление войны тому, кто не захотел подчиниться посредничеству, – Наполеону. Разумеется, диктатор континента подчинился не австрийскому министру иностранных дел, ибо крушение его господства было следствием многопланового исторического процесса огромного масштаба, но внутри этого процесса Меттерниху выпала ключевая роль, точнее сказать, он сам захватил ее. Вступив в Большой альянс последней, Австрия взяла на себя и политическое, и военное руководство им. Благодаря тому, что она имела решающий голос в принятии исторических решений – меттерниховское "искусство правильного взгляда", – она на целое десятилетие определила расстановку сил.

Меттерних, который был всего на четыре года моложе Наполеона, когда последнего сослали на убогую скалу в Атлантическом океане, едва достиг пика своей карьеры; он пережил поверженного на 38 лет и, казалось, был призван для того, чтобы за три десятилетия своего пребывания на посту министра и канцлера полностью уничтожить его дело; однако он приветствовал племянника, Наполеона III, как "восстановителя спокойствия и порядка во Франции". Меттерних умер 11 июня 1859 года, между двумя поражениями Австрии (при Мадженте 4 июня и при Сольферино 24 июня), как за полстолетия до этого он возвысился между двумя поражениями (под Аустерлицем и под Ваграмом).

Если отношение Меттерниха к Наполеону I в период его правления диктовалось борьбой за существование Австрии и будущее Европы, то этим оно ни в коем случае не исчерпывалось. Справедливо отмечалось, что его позднейшая "борьба против ниспровержения, беспорядка и анархий", в которой он видел "главную тему своей собственной жизни", существенно определялась опытами с внутренней властной системой солдата-императора. Меттерних ненавидел революцию и более того: он ненавидел любую политическую активность посторонних – а для него таковыми были народы в качестве объекта управления – как источник хаоса и нестабильности; а поскольку Бонапарт представлял "1a revolution incarnee", то он ненавидел и его. Однако сущность французского императора была двоякой: именно потому, что он "олицетворял" революцию, он сделал ее застывшей, превратив вулкан в оплот. Если молодой Меттерних в период революционных войн и во время активизации Австрии в 1809 году видел в вооружении народа действенное средство борьбы и приветствовал его, поскольку он проводил различие между "добрым, послушным народом" и "мятежными массами", то с 1810 года он принципиально отвергал народную войну,

“мобилизацию страстей”, поскольку опасность представлялась ему более значительной, чем польза. Немецкие добровольцы 1813 года нравились ему не больше, чем санкюлоты 1792 года. В этом он сходился во мнении с Наполеоном: обоим были чужды и неприятны необузданные массы, и он, без сомнения, предпочитал бонапартистскую форму правления национально-демократической, к которой стремилось молодое поколение после 1815 года.

Меттерних вполне понимал величие корсиканца. В этом ему не могли помешать ни преданность Габсбургам, ни верность принципу легитимности. Хотя эти Бонапарты по сравнению с древними княжескими родами Европы казались “нелегитимными”, но, в конце концов, это понятие было относительным и зависело от времени, места и ситуации. Понимание легитимности Меттернихом, о чем мы еще будем говорить особо, постоянно ограничивалось чувством реальности. Этим можно объяснить, что он был согласен сохранить Наполеона во главе Франции, если бы это гарантировало больший порядок, спокойствие и надежность, чем возвращение Бурбонов. Эти соображения наталкивались на возражения союзников Австрии, но прежде всего – на натуру Наполеона. Тем не менее Меттерних никогда не разделял чувства ненависти, которое владело Блюхером, Гнейзенау, Штейном, или личной обиды, которую испытывал царь. Он предрекал, что уход императора с исторической сцены повлечет за собой пятидесятилетнюю гражданскую войну в Европе, прежде чем будут убраны развалины империи-колосса и установится новый порядок. Это пророчество содержало одно заблуждение: дело не в том, что оно не исполнилось сразу же – после Наполеона последовала Реставрация и “система Меттерниха”; но европейская гражданская война продолжалась в действительности намного дольше, чем пятьдесят лет. В сущности, она и до сих пор еще не закончена, если понимать под ней борьбу Европы за установление подлинного единства.

КУЧЕР ЕВРОПЫ

Так называли его современники; часто еще “лекарем революций”. Красноречивые эпитеты, которые свидетельствуют о том, какую выдающуюся роль в политической жизни Европы ему отводили; но верны ли они? Направлял ли он карету Европы по своей воле, предписывал ли ее путь? Или же он только раскачивался на козлах, тогда как лошади повиновались другим хозяевам? “Излечивал” ли он революции, лишая их основы и запала? Или он подавлял их чисто физически и материально, не затрагивая их движущих сил? Как всегда в истории, действительность – это многослойное целое, ее трудно понять, и на простейшие вопросы следуют самые сложные ответы.

Прежде всего следует отрешиться от упрощенного представления, что в 1814-1815 годах Меттерних хотел восстановить “Европу 1789 года”. Четверть века – от штурма Бастилии до Ватерлоо – вычеркнуть было нельзя; они неизгладимо отпечатались в сознании людей, и очень многие духовные, политические, социальные изменения были уже необратимы, поскольку с ними идентифицировались изменившиеся сознание и интересы. Конституция, разделение властей, формулирование общечеловеческих прав и прав личности, ясная структура власти и открытое судопроизводство, сформированное в результате выборов и имеющее право на политические решения, свобода вероисповедания, слова, объединений, прессы – все это, хотя и практически усеченное в наполеоновскую эпоху (формально большинство из этого существовало), больше нельзя было устранить, но вместе с тем и нельзя было исключить из требований граждан. То же можно сказать о материальных и политических изменениях в сфере собственности: не только во Франции проведенный во время революции передел собственности был необратим; буржуазия, землевладельцы и крестьяне вросли в новый экономический и социальный порядок; и в Германии секуляризация и прусское реформаторское законодательство Штейна, Гарденберга и Гумбольдта, усвоение французских идей и практики в государствах Рейнского союза создали новую ситуацию, при которой больше не было возврата к “старой империи”. То же относилось почти ко всем европейским странам: Италии, Испании, России, Скандинавии, Англии. Ни один народ не остался незатронутым великими переменами, происходившими с середины XVIII до начала XIX века и переворотами, которые затронули все сферы жизни и представляли собой революцию во

многих областях: философской и научной, экономической и социальной, политической и военной. На этом фоне утратили свое значение внешняя смена декораций, смена людей и имен в 1814-1815 годах. Пусть в Тюильри теперь правил вместо цезаристского гения скромный, устало-циничный последыш Бурбонов, пусть произошли некоторые территориальные изменения: Франция вернулась в границы 1790 года, Бельгия и Голландия слились в королевство Объединенных Нидерландов (до 1831 года), поляки-"конгрессисты" примкнули к России, в Германии и Италии произошли многочисленные переделы территории в пользу Пруссии и Австрии – все это не могло вернуть к жизни Европу до 1789 года. Наряду с произошедшими в 1814-1815 годах "изменениями изменений" было и немало перемен наполеоновской эпохи, оставшихся нетронутыми: начиная с нового наполеоновского дворянства во Франции и кончая наполеоновскими орлами перед замком в Шенбрунне; Кодекс Наполеона действовал не только во Франции, но и в Рейнланде, в Бадене; южногерманские государства Рейнского союза – Бавария, Вюртемберг, Баден, Гессен-Дармштадт – сохранили свои территориальные приобретения, а князья – повышение своего ранга; и тем, и другим они были обязаны французскому императору; сохранился не только такой символ, как орден Почетного легиона, но и централизованная, унифицированная система образования во Франции или институт мэров.

Поэтому следует соблюдать осторожность с лозунговым словечком "реставрация" и ее протагонистом Меттернихом. Необходимо делать различие. Князь (с 1813 года) в силу своего дарования и по своему положению в первую очередь занимался внешней политикой. Его обязанностью было обеспечить и укрепить позиции Австрии, вопросом его честолюбия – вести Европу на поводу, но обязанность и честолюбие дополняли, даже обусловливали друг друга, ибо судьба габсбургской империи в большей степени, чем судьбы других государств, была связана с судьбой всей Европы. Мощная насильственная попытка подчинить континент гегемонии одной нации – Франции – и одного властелина – Наполеона рухнула, когда была уже близка к осуществлению; рухнула из-за "нет" Англии, из-за сопротивления России, из-за совместных действий этих двух "фланговых держав", когда морская держава метила на моря, а сухопутная – на Азию; рухнула из-за внутреннего сбоя системы диктатуры, которая не могла и не хотела отказаться от характера чужеземного завоевания и тем самым вызвала возмущение народов. Как альтернативу гегемонии Меттерних представлял

себе только совместное выступление держав. Другими словами, гегемонию Франции ни в коем случае не должна была сменить чья-либо другая, например, России. В этом он был полностью согласен с английским министром иностранных дел Каслри, а также с Талейраном, старым новым министром иностранных дел Бурбонской Франции; здесь, и только здесь, он мог опереться на дореволюционную традицию европейского государственного порядка. Со времен Карла V все войны велись за установление либо предотвращение гегемонии над Европой, и во второй половине XVIII века установилось нечто вроде равновесия; из пяти держав, которые его соблюдали (Франция, Россия, Англия, Австрия и Пруссия), ни одна не была сильнее, чем все остальные вместе взятые, а самая сильная держава всегда была слабее, чем две следующие по силе, вместе взятые. Следовало вернуться к этому основополагающему принципу европейской внешней политики, который утратил свою силу между 1792 и 1814 годами. Это возвращение и было “реставрацией”, причем в необходимом и потому позитивном смысле.

"Совместные выступления держав” (европейский “концерт”) – это больше, чем “равновесие держав”. В 1814-1815 годах речь шла не просто о том, чтобы восстановить баланс между великими державами, который воспрепятствовал бы еще одной попытке установления гегемонии и ее катастрофическим последствиям, речь шла о взаимодействии с целью установления и гарантий определенного внутреннего порядка европейских государств. Вкратце это можно сформулировать так: единоличное господство Наполеона сменилось правлением четырех, а затем пяти, “управляющего” которых почти десятилетие звали Меттернихом. Здесь перед нами выдающийся пример “сцепления” внешней и внутренней политики; ибо такие внешнеполитические соглашения, как Священный союз (1815 год) или конгрессы в Ахене, Троппау, Лайбахе, Вероне способствовали насильственному вмешательству во внутренние дела других государств, чтобы добиться сохранения определенного статус-кво. Такой статус-кво, особый для каждой страны, не был реставрацией в смысле простого восстановления положения до 1789 года или до эры Бонапарта – его практически и не последовало, – а должен был обеспечить в духе 1814-1815 гг, выполнение Парижского мирного договора и решений Венского конгресса.

Чтобы понять политику Меттерниха в годы между падением Наполеона и смертью Каслри (1822 год), следует исходить из ситуации в Австрии. Наследственная империя Австрия, как она называлась с 1804 года, представляла собой объединение

различных стран; само это было результатом исторического процесса – скопления вокруг германских внутренних территорий и их династии Габсбургов; при этом они сохраняли свое своеобразие; такие страны, как королевства Венгерское или Богемское, а также меньшие или менее значительные, как Галиция, Хорватия, Славония, имели собственную историю, язык, культуру; приобретение больших итальянских территорий, таких как Ломбардо-Венецианское королевство, на Венском конгрессе внесло дополнительный элемент беспокойства в союз монархии. Опасности для существования габсбургского государства были двоякого характера: с одной стороны, угроза могущественных соседей, а с другой стороны – внутренние стремления к автономии; и то, и другое было тесно взаимосвязано и взаимно усиливалось. Национально-революционные и демократические движения в отдельных составных частях империи должны были побудить не только к разрыву объединяющих династических связей, но и к агрессии соседей, а внешнеполитическое, военное давление со стороны последних, например, России, должно было побудить к активности первых. Это было и оставалось основной ситуацией дунайской монархии вплоть до ее конца. Меттерних понял ее и пытался противостоять опасности по двум упомянутым основным линиям. Конкретно это выражалось в следующем: во-первых, счастливо пережитая французская гегемония ни в коем случае не должна была смениться русской, сильнейшую отныне континентальную державу нужно было держать в постоянном напряжении; во-вторых, следовало сурово подавлять все революционные устремления, будь они нацелены больше на народно-национальное или на политическое, социальное освобождение (а эти цели шли, как правило, рука об руку). Безопасность Австрии требовала, чтобы оба фактора – внешнеполитическое равновесие в европейском “концерте” и стабилизация строгих монархических порядков внутри этих держав – слились воедино. Это слияние и составляет подлинную сущность “системы Меттерниха”. Ее установление было гениальным дипломатическим достижением князя, которому, впрочем, благоприятствовали условия: готовность руководимой Каслри английской внешней политики участвовать в европейском “концерте” и в гарантиях внутреннего порядка; возвращение Франции в большую политику, которое помогло поставить заслон как нежелательному усилению Пруссии и России, так и революционным движениям; далее, достигнутое Меттернихом оптимальное решение немецкого вопроса в духе Вены, о чем мы будем говорить ниже; наконец, натура царя Александра I, которая сделала его опорой христианско-монархического легитимизма.

Когда, перечисляя отдельные моменты, мы говорим о “благоприятных обстоятельствах”, то следует уточнить, что они были созданы и сохранены благодаря решающему участию Меттерниха. Он мастерски владел искусством показывать всему миру, что Австрия незаменима и в политическом, и в военном отношении, и именно этим делал ее действительно незаменимой – препятствуя одному только допущению о том, что в Европе возможны какие-либо комбинации без Австрии, он тем самым предотвращал возникновение таковых против Австрии. (Это политическое искусство, мастером которого был также Бисмарк, имеет жизненно важное значение для государств в положении Австрии или, позднее, Германской империи: если оно не используется или вообще позабыто, то реальна угроза падения). Хорошую поддержку своей внешней политике Меттерних нашел в совместных действиях с Англией, министр иностранных дел которой был высокообразованным, искусным дипломатом, понимавшим европейские проблемы и согласным в их оценке со своим австрийским коллегой – нередко в противовес британским. То, что Каслри в свое время не только понял условия существования Австрии, но и оценил ее жизненную необходимость для европейской свободы и цивилизации, является составной частью его величия, оценить которое в полной мере мы можем лишь сегодня.

Каслри и Меттерних открыли перед Талейраном двери Венского конгресса и тем самым перед Францией – путь к возвращению в европейское сообщество народов. Теперь нужно было думать не о прошлых войнах, унижении, Наполеоне, не о возмездии – его желала в первую очередь Пруссия, – а о Франции сейчас и в будущем, о восстановленной Бурбонской монархии с лилиями на знамени и с конституцией (“хартией” 1814 года), о Франции, которая в собственных интересах помогала защищать троны других государств. Талейран, третий гениальный дипломат в этом союзе, умел достойно представлять ту Францию, которую хотели видеть и в которой нуждались. Он был согласен с Каслри и Меттернихом по вопросу взаимосвязи между легитимизмом и положением в комбинации европейских держав: легитимистской державе нельзя было отказать во вступлении в “клуб держав”, которые рассматривали легитимность как основу и предварительное условие допуска, и наоборот: если держава входила в этот “клуб”, то тем самым она была обязана поддерживать не только свой собственный, но и общеевропейский легитимистский монархический порядок. Франция выигрывала от такой логики, и тетрархия превратилась в пентархию.

Впрочем, все трудности не удалось преодолеть благодаря

общей “идеологической” основе. Постоянно происходило столкновение идеалов и интересов, морали и жажды наживы. Так, например, Пруссия охотно аннексировала бы всю Саксонию в “наказание” за то, что она слишком поздно перешла из лагеря Наполеона к союзникам (по этому поводу Талейран заметил: “Очевидно, предательство – это вопрос даты”), но столкнулась с тем, что здесь речь шла о наследственном правителе, изгнание которого противоречило бы легитимистскому и монархическому принципу; однако еще больше это противоречило интересам Австрии и Франции: Пруссия, которая на конгрессе увеличила свою территорию за счет Вестфалии и Рейнланда, и без этого казалась им слишком сильной. Поскольку царь ничего не имел против аннексирования Пруссией Саксонии, надеясь за это прибрать к рукам всю Польшу, то единство союзников оказалось в опасности: Австрия, Англия и Франция заключили секретный договор против русского союзника, ситуация находилась на волоске от войны. (Эпизодическое возвращение Наполеона в марте 1815 года предотвратило ее и вынудило всех к единодушию; впрочем, в одном наспех убранном письменном столе он нашел экземпляр этого договора и переслал его царю в надежде таким образом взорвать коалицию, что, однако, не удалось.) Ситуация с Польшей в основе своей была еще более щекотливой, чем с Саксонией: хотя ее территории управлялись законными правителями России, Пруссии и Австрии, в конечном счете это было следствием акта крайнего беззакония, когда Польское королевство было грабительски и жестоко стерто с географической карты. Стремление установить в Европе правовой порядок в первую очередь потребовало бы восстановления Польши. Но легитимность легитимностью, а веские властные интересы “ястребов” 1772, 1793, 1795 годов воспрепятствовали этому, а веские державные интересы Австрии противостояли аппетитам царя.

Царь Александр I вообще был примечательным явлением: в нем соединялись экзальтация и хитрость, неуверенность и твердость, восприимчивость к влияниям и желание проявить себя. Казалось, его политика в отношении наполеоновской Франции колеблется между ослеплением корсиканцем и ненавистью к нему; по своему воспитанию и культуре он был настроен “прозападно”, но в своей мистически-ортодоксальной религиозности оставался насквозь русским; казалось, нет ничего легче, чем “манипулировать” им, и вместе с тем он чувствовал себя православным исцелителем Европы и был в этом непоколебим: если в конце его правления, в 1825 году, подвести баланс, то многочисленные противоречащие друг другу

отдельные шаги складываются в целеустремленную, последовательную национально-русскую державную политику. Меттерних, психолог высокого уровня прекрасно разбирался в этом оппортунистическом мистике, из внезапных озарений которого он умел отфильтровать реальные политические последствия. Так было и со Священным союзом, одним из самых необычных договоров, которые когда-либо заключались в Европе. Испытывая различные влияния, начиная от вытесненных угрызений совести отцеубийцы (Александр, по крайней мере, знал об убийстве своего отца Павла) до экзальтированного нашептывания фрау фон Крюденер и историко-теологических представлений Франца Баадера, он усвоил идею обновления Европы через союз христианских правителей. Возможно, по сути это было попыткой сохранения старой Европы, точнее: закрепление существовавшего на 1815 год. Меттерних сразу же это понял: внеся некоторые изменения, он сорвал покров маскировки с проекта царя, а то, что осталось, было своего рода универсальным инструментом для принуждения к антиреволюционному легитимистски-монархическому благополучию. К сожалению, мы не можем дать подробную интерпретацию необычного, даже единственного в своем роде документа, в котором романтическая набожность могла увидеть рождение универсально-христианской Европы, а макиавеллиевский ум – легитимность всеобщего вмешательства; ибо статья первая гласила, что “три договаривающиеся монарха при всех обстоятельствах и во всех случаях будут оказывать друг другу помощь и поддержку; рассматривая себя по отношению к подданным и армиям как главу семьи, Они будут направлять их в том же духе братства, которым Они воодушевлены, чтобы охранять религию, мир и справедливость”.

Этот акт, заключенный в ноябре 1815 года между Францем I от имени Австрии, Фридрихом Вильгельмом III от Пруссии и Александром I от России, был открыт для присоединения всем европейским властителям, и в течение короткого времени в него вступили все, кроме султана, поскольку он не был христианином, и папы, поскольку у него было очень развито сознание собственного величия. При чтении текста договора так и тянет недоверчиво покачать головой и считать его всего лишь неслыханным выражением лицемерия. Но это было бы упрощением: ведь не только у монархов, но и у очень многих людей, переживших и выстрадавших революцию и империю, действительно существовало стремление построить новую Европу на основах ее старых традиций (как их понимали) и создать духовно-художественно-религиозную “контримперию” “идеям

1789 года”. Романтизм в различных видах и вариациях был общеевропейским феноменом, универсальным движением, охватывающим все области жизни не только в пространственном, но и в социальном отношении. Идею и власть в истории разделить нельзя; идея без власти – просто пузырь, власть без идеи – преступна. Рационализм и Просвещение привели к революции, диктатуре, массовым убийствам и войнам, но в то же время к решительной эмансипации общества и индивидуума. Романтическое встречное движение принесло с собой интервенцию, полицейское государство, угнетение личности и общества, и вместе с тем – раскрытие всего человека благодаря обновлению чувства истории и силы веры.

Меттерних был весьма далек от таких соображений; хотя он блестяще сформулировал много проницательных, умных мыслей, у него вес же отсутствовала та дистанция по отношению к самому себе и к истории, которая только и может подарить покой самоуглубления. Ее не было по понятным причинам вплоть до его глубокой старости: в неутомимой деятельности он проводил свои дни на конгрессах, встречах, балах, в переговорах, беседах, конференциях. Именно на 1813-1822 годы приходится пик его активности. “Я чувствую себя в середине сети, – писал он в 1821 году, – как мои друзья, пауки, которых я люблю, потому что так часто ими восхищался…”, – меткое сравнение, ибо в действительности ему приходилось, подобно пауку, постоянным трудом ткать свои нити и тем не менее всегда оставаться в середине сети; а все попавшие в сеть должны были сохранять иллюзию, что они создали сеть и служат исключительно своим интересам. Для истории созданная Меттернихом система конференций и интервенций имеет прямо-таки эстетическую притягательность: как будто жонглер играет пятью шарами (великими державами), поддерживая все одновременно в движении, так что они кажутся неподвижной фигурой, – это гениально, почти величественно, особенно если вспомнить, что этот жонглер – представитель не самой сильной и самой здоровой державы с самым большим будущим, а самой неустойчивой, наиболее подверженной опасности, которой угрожает ход истории этого столетия.

Венский конгресс 1814-1815 годов: Меттерниху удается уравнять почти все спорные интересы таким образом, что никто полностью не удовлетворен, но в то же время никто не покидает имперскую столицу в полном разочаровании и с жаждой мести. Именно в этом заключался секрет прочности этого документа, перед которым такие договоры, как Версальский и даже Потсдамский, кажутся варварски примитивными. Конгресс в

Ахене в 1818 году: после того как Вена заложила фундамент взаимной заинтересованности победителей и побежденных, Меттерних при содействии Каслри и Талейрана разработал систему постоянных консультаций и совместной работы, благодаря которой фактические противоречия интересов, которые, разумеется, имели место, окунались в иллюзию служения общим идеальным целям как в растворяющую металл кислотную ванну. Этим резервуаром иллюзий был упомянутый Священный союз, и в нем действительно удавались примечательные волшебные фокусы. Так, например, конгресс в Троппау 1820 года: если Ахенская декларация еще отражает единодушие “большой пятерки” на благо народов гарантировать спокойствие в мире, то эта солидарность значительно уменьшилась перед лицом тех трудностей, с которыми столкнулась одна из четырех держав, а именно Австрия. В Италии, которая превратилась в составную часть Австрии, произошли революционные беспорядки, причем и на севере, и на юге – в королевстве Неаполитанском и Сицилийском; особенность этих беспорядков заключалась в том, что в них слились социальные, политические и национальные мотивы. Либеральное движение объединилось с национально-государственным; восставшие боролись за конституцию и против иноземного господства, а это означало: врагом была Австрия. Хотя Меттерниху удалось продвинуть интервенционистский принцип до такой степени, что Россия и Пруссия подписали с Австрией протокол и дополнение к нему, содержавшие обязательство держав вмешаться при необходимости ликвидации “вызванных мятежом изменений правления”, но именно в общем характере этих положений таилась опасность: кто мог знать, на что они могут в один прекрасный день воодушевить такого самодержца, как Александр I, и такую державу, как Россия? Меттерних, будучи политиком реальности, всегда отдавал предпочтение особым мерам в конкретных ситуациях перед принципиальными заявлениями. Он и осуществил эту особую меру: конгресс, перенесенный в январе 1821 года в Лайбах, обязал Австрию силой оружия восстановить в Италии покой и порядок.

Тем временем в триумфальный кубок падали капли горечи: ни Франция, ни Англия не присоединились к решениям Троппауского и Лайбахского конгрессов, хотя они их и допустили, но с протестом и неодобрением. Соперничество держав оказалось сильнее, чем их солидарность. Хотя в итальянском вопросе Меттерних еще раз оказался победителем, но и победа национально-эгоистических интересов над внутриполитическими идеалами была очевидна. И это относилось

не только к западным державам, которые начали идти своим собственным путем, точнее, вновь начали идти путем либерализма, парламентаризма и демократии, но и к России, которая не ради каких-то идеалов или из любви к габсбургской империи одобрила интервенцию в теории и на практике, но и с учетом расширения сферы собственных политических притязаний. На первой остановке “системы конгрессов”, в Ахене, было развернуто знамя солидарности между державами-участницами, а на последней станции, в Вероне в 1822 году, оно было вновь свернуто. Хотя Франция использовала благоприятную возможность взять на себя задачу интервенции в Испанию, чтобы подавить там либеральное восстание и восстановить прогнивший режим Фердинанда VII, но этим и закончился краткий период солидарности пятерки. После смерти Каслри его преемник Каннинг, которого Меттерних назвал “мировым бичом”, полностью изменил курс английской внешней политики; она повернулась от квиетического интервенционализма Священного союза, который всегда и в любом случае был направлен на сохранение существующего порядка, к реалистической политике мировой державы, для которой “вторгаться” или “не вторгаться” было вопросом своевременности, а не мировоззрения.

Неприкрытое возвращение к чисто силовой политике экономических и политических интересов было продемонстрировано в совместных действиях таких неоднородных держав, как Англия и Россия, в греческом вопросе: в 1826 году основанием греческого государства с частичным суверенитетом они достигли единства, к которому в 1827 году присоединилась также Франция; в 1828 году русско-турецкий конфликт благодаря посредничеству Пруссии привел к полной самостоятельности Эллинского королевства. Все это произошло без Меттерниха или вопреки ему, под знаком национальной государственности. Знамение века: все европейские державы перешли на националистический курс, исключая Германский союз, который не был державой, и Австрию, которая не была и не могла стать национальным государством. В своем сравнении с пауком Меттерних писал: “Я распространил мои моральные средства по всем направлениям.., однако такое положение вещей удерживает бедного паука в центре его тонкой паутины ., такие паутины прелестно выглядят, искусно сотканы и выдерживают легкие прикосновения, но не порывы ветра”. Однако не просто порыв ветра, а настоящий бриз национализма, либерализма и демократизма дул теперь в лицо дунайской монархии и ее выдающемуся государственному деятелю и постоянно разрывал все дипломатические паутины. Поездка европейской кареты с

Меттернихом на козлах продолжалась восемь лет, с 1814 по 1822 годы. Отныне князь вынужден был довольствоваться несколько тяжеловесной двуколкой Австрия – Германский союз. Тяжелое занятие, которое не принесло ему ни благодарности, ни лавров.

ЛЕКАРЬ РЕВОЛЮЦИЙ

К новому порядку в Европе относился и новый порядок в германских делах. В наполеоновский период они получили такое развитие, что с самого начала были исключены такие решения, как возрождение "Священной римской империи германской нации", создание единого государства либо централизованного, пусть даже федеративного союзного государства. Меттерних показал себя здесь человеком, который – в отличие от барона Штейна, а также Гарденберга и Гумбольдта – учитывал всю совокупность немецких и европейских реальностей и был полон решимости привести их в соответствие с интересами Австрии. Возможно, при анализе ситуации, перед которой был поставлен министр, следовало бы начать с последнего. Хотя габсбургское государство в XVIII веке, как и Пруссия, постоянно "вырывалось" из империи, а Иосиф II, Леопольд II, Франц II и их министры вершили европейскую политику великих держав и свою связанность с империей часто воспринимали как тормоз, все же династия считала себя немецкой, а Австрию – немецкой великой державой, связанной с Германией как имущественно, так и духовно, и ответственной за ее судьбу. Австрия – одна Австрия – несла основной груз борьбы против Франции, против Наполеона, с 1792 года в течение 14 лет, прежде чем Пруссия в 1806 году вступила на арену и была побеждена. Однако Австрия была заинтересована в Германии не только в силу исторических причин, она нуждалась в сильной немецкой позиции, чтобы сохранять внутреннее равновесие монархии. Немецкий элемент составлял в ней меньшинство, и это обстоятельство все более роковым образом сказывалось в период укрепления идеала национального государства и "народной" эмансипации.

Как на общеевропейской, так и на германской сцене перед Меттернихом стояла задача совершить почти невозможное, а именно: завуалировать слабость позиции Австрии, представить ее сильной и поддерживать ее авторитет, который, собственно, не имел под собой никаких реальных оснований. Дела Австрии, касавшиеся ее немецкой позиции, были крайне плохи: Пруссия, увеличившаяся на половину Саксонии, Вестфалию и Рейнланд, простиравшаяся от Мемеля до Ахена (разделяемая лишь небольшими вклиниваниями ганноверских и гессен-кассельских земель, которые после 1866 года исчезли), и Бавария, увеличившаяся за счет Вюртемберга, Бадена и Гессен-Дармштадта и укрепившаяся и внутренне, и внешне со времен Рейнского союза, были больше и населеннее, чем немецкие области

монархии. Эти простые факты означали, во-первых: восстановление “старой империи” было невозможным и с точки зрения Австрии нежелательным. Секуляризованная империя (а если что-либо и было возможно, то только это) при сохранении сильных немецких территориальных государств была бы всего лишь мнимым образованием, так сказать, “подтасовкой фактов”, а габсбургский император в ней – безвластным и, учитывая его собственные страны, связанным по рукам и ногам. Во-вторых: о возможности централизованного единого германского государства нечего и говорить, ибо оно противоречило бы традиции, соотношение всех сил противодействовало этому, никто этого не хотел. В-третьих: таким образом, была возможна только федерация германских государств, модель которой еще нужно было выторговать. Это соответствовало желаниям соседних держав, а также договоренностям, которые более или менее однозначно содержались в Бартенштейнском договоре 1807 года (между Россией и Пруссией), Калишском договоре 1813 года (между Россией и Пруссией), Теплицком союзном договоре 1813 года (между Россией, Пруссией и Австрией). Конкретно вопрос при этом звучал следующим образом: “федеративное государство” или “союз государств”, другими словами: что должно было произойти с суверенитетом германских государств-членов? Штейн, который мечтал о возникновении новой могучей Германской империи, выступал за значительное урезание суверенной власти; Гарденберг и Гумбольдт склонялись к умеренному решению – федерации государств, Меттерних же (а еще более решительно его сотрудник Генц, которого удовлетворил бы просто альянс, как между чужими государствами) занимал противоположную позицию, которая в любом случае предусматривала союз государств. Любое решение в пользу федерации предусматривало центральную власть, а это неминуемым образом пошло бы за счет мелких и средних германских государств. Поэтому именно они ожесточенно выступили против этих планов: они правильно рассудили, что в федеративном государстве им пришлось бы смириться со значительным сокращением своего суверенитета и расцветом прусской гегемонии. Точно так же рассуждал и Меттерних: федеративное государство с центральным правительством, пусть даже круг его полномочий будет ограничен, и главой государства (ставить или не ставить которого для Австрии также было бы проблематично) в конечном счете пошло бы на пользу только Пруссии и отняло у империи ее естественных южно– и среднегерманских союзников.

Меттерних в этом отношении не только мыслил яснее и

быстрее, чем его коллеги, но, прежде всего, действовал быстрее и целеустремленнее. Еще во время войны против Наполеона, в октябре 1813 года, между Австрией и Баварией был заключен Ридский договор, в котором Австрия от имени всех союзников в качестве компенсации за выход из Рейнского союза и переход на сторону коалиции гарантировала Виттельсбаху сохранение территориальных владений, которые он получил от Наполеона, и неограниченный суверенитет, которым он пользовался после распада империи в 1806 году. Это был типовой договор, за которым в течение шести недель последовали аналогичные договоры с Вюртембергом, Гессен-Дармштадтом, Баденом и мелкими тюрингскими государствами. Ридский договор, заключенный за год до Венского конгресса и подписанный также Россией и Пруссией, стал для нового порядка в Германии принципиальной основой, с учетом чего последовавшее за этим огромное количество меморандумов, докладных записок, писем, проектов были просто боем с тенью. В сущности, после Рида речь шла лишь о том, будет ли существовать союз государств, и если да, то как он должен быть организован.

То, что получилось в конце концов – Германский союз, эта реалистическая и длительная попытка дать немцам государственный порядок, который был бы разумным, пошел бы на пользу им и другим европейским государствам, – был многократно раскритикован и до сегодняшнего дня еще недостаточно оценен; он заслуживает отдельной книги, которая еще не написана. Здесь же нам придется ограничиться рассмотрением тех моментов, которые касаются Меттерниха.

После долгих месяцев обсуждения германскими правительствами наконец 8 июня 1815 года был принят “основной закон” нового порядка, Германский Союзный акт, который стал творением Меттерниха с наиболее далеко идущими последствиям, ибо, независимо от участия в общем деле множества маленьких и больших, значительных и неважных людей, он был “отцом” этой первой общегерманской конституции, и в ее рамках в течение полустолетия протекало политическое, экономическое и социальное развитие Германии. Слово “рамки” подразумевает:

Германский Союзный акт намечал лишь определенные границы германской государственной жизни, в пределах которых отдельные изменения были не только возможны, но частично вводились, не будучи заранее обусловлены содержательно либо по существу; в отличие от более поздних конституций 1867, 1871, 1919 и 1949 годов, он не старался по возможности всеобъемлюще и полно отрегулировать в политико-правовом отношении

совместное проживание немцев, наоборот: он старательно оставлял пространство для заполнения рамок в будущем, был гибким каталогом минимальных норм. Сорок одно германское государство (37 княжеств и четыре республики, то есть вольных города) объединились в “постоянный”, то есть нерушимый союз, который образовал рамки не только для них, но и для всей Центральной Европы. Ибо наряду со множеством германских государств, территория которых одновременно была союзной, например, Бавария или Ольденбург, были и такие, у которых только часть их территории входила в союз, а именно самые могущественные:

Пруссия и Австрия. Так, провинции Восточная Пруссия, Западная Пруссия, Позен или габсбургские земли Италии (Ломбарде-Венеция), Хорватия, Галиция и, разумеется, Венгрия не относились к территории союза. С другой стороны, германскими союзными князьями являлись и иностранные властители: король Дании в качестве герцога Голштинии, король Великобритании в качестве короля Ганновера или король Объединенных Нидерландов как великий герцог Люксембургский. Такое глубокое укоренение Германского союза в общеевропейскую систему государств нашло свое отражение в столь значительном с государственно– и конституционно-правовой точки зрения факте, что Союзный акт был целиком включен в Заключительный акт Венского конгресса, подписанный 9 июня 1815 года, и составил его статьи с 53 по 63. Тем самым новый союз государств Германии стал составной частью общеевропейского равновесия и был гарантирован державами, подписавшими Заключительный акт Венского конгресса. Делавшиеся иногда впоследствии попытки иностранных держав, прежде всего Франции, обосновать право вмешательства пресекались этими гарантиями, не в последнюю очередь благодаря взаимно нейтрализующей ревности участников и дипломатической ловкости Меттерниха. Для поддержания мира в Европе и для передышки, столь необходимой именно для немцев после десятилетий потрясений, Германский союз как орган равновесия имел благотворное значение.

Пытаясь установить и сохранить мир в Европе с помощью системы равновесия пентархии и используя для этого германские страны, Меттерних стремился к тому, чтобы с помощью системы равновесия в союзе сгладить внутригерманские противоречия и воплотить в жизнь концепцию Европы. Одновременно он служил Австрии, которая для своего существования равно нуждалась как в европейском, так и в германском единстве. Германский союз был чем-то вроде “матрешки”: миниатюрная Европа в Большой Европе – то же столкновение интересов, напряженность,

соперничество, те же склоки, беспорядки, те же средства лечения, то есть конференции, постановления, вмешательства. И тот же итог: Меттерниху не удалось поддерживать консенсус пентархии и позицию Австрии как ее третейского судьи; тем не менее, несмотря на постоянное соперничество держав, их европейский “концерт”, пусть все более атонально-диссонансно, продолжался до 1914 года; точно так же государственному канцлеру (с 1821 года) не удалось парализовать динамичное, подрывающее союз развитие Пруссии и германских национально-либеральных движений в союзных государствах, тем не менее надуманная конституционная паутина союза оказалась удивительно стабильной.

Да, следует отметить: здесь Меттерних добился более длительных успехов, чем на международной арене. В большой политике Австрия, одна из пяти великих держав, постоянно подвергалась опасности очутиться в изоляции или попасть в зависимость от более сильных. В союзе же она противостояла одной Пруссии, и здесь полностью проявились как старая имперская традиция, так и духовное, политическое превосходство Меттерниха: ему удалось убедить Пруссию в том, что общность интересов обоих государств перевешивает их различия, и на долгие годы превратить ее в своего рода “младшего партнера” габсбургской империи; таким образом он приобрел решающее влияние на мелкие и средние государства, прежде всего, Южной и Центральной Германии. Учреждения союза стали на долгое время орудием господства Австрии в германском пространстве, ее правовое и фактическое положение как главенствующей державы союза укрепляло ее международный авторитет.

Германский союз был союзом государств, и поэтому нельзя критиковать те моменты, которые были обусловлены его государственно-правовой природой: то есть отсутствие главы, ответственного общего правительства, верховного союзного суда, общенационального представительства. У союза были только те органы и учреждения, которые были необходимы для его функционирования и которые он мог иметь с учетом суверенитета отдельных государств: союзное собрание, которое состояло из связанных инструкциями посланников государств-членов союза и выступало то как “суженный совет”, то как “пленум” под председательством Австрии; позже – отдельные центральные ведомства, которые занимались расследованием “революционных беспорядков”. Функционировал третейский суд, исполнялись приговоры и союзное военное соглашение. Однако ключевой проблемой всей этой конструкции оставался суверенитет. Он должен был непременно сохраняться за членами

союза. Впрочем, в определенной степени он уже был фикцией, ибо вступление в союз, вытекающее отсюда ограничение свободы союзов (“никаких объединений.., которые могли бы быть направлены против безопасности союза или отдельных союзных государств”, ст. 11 Союзного акта), обязательство выносить конфликты на рассмотрение союзного собрания и в случае необходимости подчиняться судебному решению; далее, определенное число налогов, судебная система (статья 12), “осуществление” основных земских законов (статья 13), посредничество в спорах (статья 14) и все, что касалось комплекса основных прав отдельного гражданина государства, – все это означало ограничение суверенитета. Венский Заключительный акт продемонстрировал это еще более отчетливо. Он был выработан на Венских конференциях полномочными представителями германских правительств с ноября 1819 по май 1820 года и явился дальнейшим развитием Союзного акта от рамочного закона до сравнительно подробной конституции, которая в своих 65 статьях, с одной стороны, вновь подтверждала суверенитет членов союза, но, с другой стороны, ограничивала его положениями о вмешательстве и санкциях со стороны союза. Испытывая более или менее обоснованный страх перед революционными, то есть национальными, демократическими, республиканскими движениями, правительства стран – членов союза передали ему как целому определенные права вмешательства в их внутренние дела. Можно сформулировать это иначе: Австрии, то есть Меттерниху, с помощью Пруссии, в которой закончился период реформ, удалось нагнать на отдельных князей и правительства такой страх перед “переворотом”, что они передали союзу исполнительную власть для защиты от собственных подданных, таким образом согласившись на сокращение суверенитета, чтобы спасти “монархической принцип”. Что же это означало на практике? То, что Австрия и Пруссия как самые сильные союзные государства – сильные именно потому, что, будучи европейскими державами, они лишь частично были прикреплены к союзу – образовали “фактическую директорию”, поскольку их суверенитет не был сокращен, ибо невозможно было представить себе вмешательство третьих стран в их внутренние дела. Фактически Германский союз мог существовать до тех пор, пока в нем существовал австро-прусский консенсус, воля к нему. С точки зрения реальной власти между 1815 и 1866 годами мы имеем дело с правлением двух держав, конституированным как союз государств.

Когда Меттерних пытался продвинуть на Венском конгрессе свою концепцию нового устройства, он не мог и мечтать о том,

что спустя десятилетия он сможет рассчитывать на прямо-таки послушную Пруссию, по крайней мере в вопросах, которые касались внутреннего, монархического и легитимистского порядка. Поэтому Союзный акт в своих решениях о распределении голосов в союзном собрании, о распределении ответственности, о прохождении дел предусматривал надуманную систему баланса: теоретически градация государств по величине была невозможна, и тем не менее с различным "специфическим весом" членов союза на практике считались. Благодаря такой тактике Меттерниха Союзный акт был приспособлен к потребностям Австрии; в случае, если бы Пруссия приобрела в союзе слишком большое влияние или вступила в серьезные противоречия с Австрией, то последняя смогла бы опереться на большинство средних государств; они же, как и мелкие государства, видели бы в габсбургской империи своего естественного защитника. Это была предупредительная мера, которая намного позже, в 1866 году, приобрела практическое значение, хотя и не спасла положения. До поры до времени политическая реальность выглядела таким образом: вокруг прусско-австрийского ядра группировались все члены союза (пусть даже иногда и несколько выходя за рамки послушания, как Баден или Саксония-Веймар) – из страха перед революцией. Борьба против "революции" – это понятие толковалось в широком смысле и включало все устремления в германских странах, нацеленные на изменение установленного в 1815 году порядка, – тесно сплотила правительства независимо от других столкновении интересов (например, в области торговой и таможенной политики).

Этот страх перед революциями Меттерних сумел сделать важнейшим рычагом верховенства Австрии в союзе. В течение тридцати лет сильным связующим моментом для союза была защита от "переворота", и Австрия при поддержке Пруссии составляла ее основу. Нужно рассматривать борьбу Меттерниха в правильной перспективе. Ему – а не только студенческим корпорациям, либеральным депутатам и "Геттингенской семерке" – была свойственна верность убеждениям, которая заслуживает уважения; и ему было присуще нечто вроде героизма, печального героизма проигравшего. Согласно планам Меттерниха, согласно воле Австрии, Пруссии и иностранных держав, при согласии всех участвующих правительств, Германский союз был учрежден как порядок, основанный на плюрализме суверенитетов, на легитимизме и монархическом принципе. Исходным пунктом законности и строгого соблюдения этих трех фундаментальных принципов было не какое-то "прошлое", какие-то исторические

реминисценции и реставрация, а совершенно однозначная дата календаря: 8 июня 1815 года. На Венском конгрессе – мы уже говорили об этом – были существенно нарушены все священные принципы так называемого “века реставрации”. Однако теперь, со дня вступления в силу Союзного акта, колесо исторического развития Германии должно было остановиться, – представление, удивительно далекое от действительности и истории.

Развитие не остановилось. Так, например, в статье 13 Союзного акта говорилось: “Во всех союзных государствах будет существовать земская конституция”. Хотя это было задумано, чтобы задержать конституционное движение и направить его в определенное русло, вскоре оказалось, что это своего рода длинный бикфордов шнур на бочке с порохом, причем во многих аспектах: сознательно расплывчатая формулировка позволяла различные интерпретации того, что вообще следует понимать под термином “земская конституция”, что должно стать ее содержанием, каким путем она должна реализоваться. Сколько палат должно было существовать, как следовало созывать депутатов, какие права и обязанности они должны были иметь, какие прерогативы оставались за короной, как вообще должно было выглядеть разграничение полномочий? Должна ли конституция быть односторонним даром властителя своему народу или представлять собой договор, можно ли ее отменить, изменить, и как, когда, в какой мере? Означало ли слово “сословное представительство”, что народ должны представлять избранные депутаты? Или это должно было быть представительство от сословий в доконституционном смысле? Генц, в согласии с Меттернихом, пытался объяснить, что под термином “сословное представительство” подразумевается именно это, то есть что сословия следует понимать в старом смысле слова. А когда наконец конституция уже существовала на бумаге, ее должен был утвердить властитель (“навязать”) или должны были выторговать представители сословий (как в Вюртемберге); конституцию до 1830 года получили пятнадцать союзных государств, до 1848 года – все, кроме Австрии и Пруссии; затем началась борьба за ее интерпретацию и применение в политической практике. Букву конституции найти было сравнительно легко, но за осуществление конституции десятилетиями велась маленькая война между монархом, правительством, палатами. “Монархический принцип” предполагал в правителе единственного носителя суверенитета; конституционный принцип, по своей природе демократический, предполагал суверена в народе, который действовал через монарха и через парламент. С логической точки зрения оба

принципа были в конечном счете несовместимы друг с другом; то, что оба они были заложены в Союзный акт и в Заключительный акт Венского конгресса, было подобно установке взрывного устройства с часовым механизмом; впрочем, он тикал очень медленно, в сущности, до 1918 года.

Молодое поколение 1813 года и все молодые поколения после них хотели чего-то иного, чем квиетического административного государства или союза государств, который водили на помочах Австрия и Пруссия. Они хотели в своих странах свободного, либерального, парламентарного устройства, в большинстве своем они не были республиканцами (хотя были и такие), однако хотели государственного устройства, подобного британскому, ненавидели полицейско-осведомительский аппарат, цензуру прессы и политику сохранения малых государств, ибо – и это было другим направлением их стремлений – они хотели единого свободного конституционного государства всех немцев. Всем этим целям Меттерних объявил войну, ибо каждая из них и все вместе взятые предполагали изменения, передачу власти, беспорядок, даже революцию и гражданскую войну, что угрожало существованию дунайской монархии, Германского союза, каждому отдельному трону и миру в Европе. Он не был одинок; независимо от того, что он пользовался поддержкой своего императора и исключительным авторитетом и доверием у входивших в союз монархов и их правительств, самим фактом своего существования и положения он стал центром лагеря всех, кто был заинтересован в сохранении внешнего и внутреннего порядка образца 1815 года: дворян-землевладельцев, церкви, большей части офицерского корпуса и высшего чиновничества. При этом не обошлось без недоразумений и смешения фронтов. Так, церковь извлекала выгоды из своих отношений с государством при новом порядке, который после наполеоновской эпохи во всех союзных государствах был взят с боем и проникнут готовностью к компромиссу, полностью в духе либеральных идей времени, а конституционное движение везде шло ей на пользу; с другой стороны, романтики типа Фридриха Шлегеля, Адама Мюллера, Захариаса Вернера и другие сплотились вокруг Меттерниха, в котором они видели гаранта церковного, католическо-христианского мира и общества, что было в корне неверно. В противоположном лагере: торговая и промышленная буржуазия, образованная прослойка буржуазии – юристы, врачи, учителя; часть среднего и высшего чиновничества, множество студентов, профессоров, представителей прессы, литературы и искусства. Хотя иногда лагери пересекались, в основном они оставались постоянными; только во времена Бисмарка начались

постоянно меняющиеся комбинации всех со всеми.

В течение сорока лет Меттерних олицетворял незыблемо-последовательное самосохранение внутригерманского порядка. С одной стороны – Вартбургское торжество с декламациями и сожжением книг (1817 год), национально-немецкими демократическими студенческими корпорациями, настроенные в германском национальном и конституционном духе университетские профессора, писатели, ученые (Фриз, Арндт, Геттингенская семерка, среди них Гервинус, Дальманн, братья Гримм), бессмысленное убийство Коцебу психически ненормальным студентом Зандом в Мангейме, Гамбахское торжество (1832 год) с зажигательными статьями в прессе и речами, нападение на караул во Франкфурте – дилетантская попытка восстания (1833 год); с другой, во всех союзных государствах – борьба за конституцию между правителем, правительством как исполнительной властью на одной стороне и парламентской законодательной властью на другой, причем все это – высокопарные слова, потому что характер работы и круг деятельности палат нужно еще было определить постепенно и в упорной борьбе, чтобы шаг за шагом отвоевать у давно устоявшейся всесильной власти государства пространство для действий. К конституционной борьбе этой эпохи следует отнести также “кельнские волнения” – продолжавшийся годами, подвергающий сомнению основы взаимоотношений государства и церкви спор о полномочиях между прусским правительством и прусским епископатом. В некоторых государствах, как, например, в Гессен-Касселе, Ганновере, но прежде всего в Брауншвейге дошло до настолько тяжелых конституционных конфликтов, что это затронуло “покой и порядок” всего союза. В Ганновере протест семи геттингенских преподавателей университета против нарушения конституции королем, их увольнение и высылка некоторых из страны (1837 год) стали сигналом к сопротивлению государственному и административному произволу, свидетельством существенного укрепления правового и конституционного государственного мышления. В Брауншвейге твердолобая абсолютистская позиция герцога привела к восстанию, интервенции союза и низложению монарха. Если учесть, что все эти конфликты доводились правящими до конца во имя “монархического принципа”, который был заложен в конституциях союзных стран, то лишь тогда можно понять, какой ущерб он потерпел по сравнению с продвигающимся вперед конституционализмом.

Внешне казалось, что Меттерних и статус-кво одержали победу. Карлсбадские решения в ответ на мангеймское убийство,

которое в каком-то смысле пришлось кстати, были приняты собравшейся с 6 по 31 августа 1819 года конференцией министров десяти правительств и представляли собой пакет законов типа намордника, которые по воле принявших их – а их идеологом, инициатором, координатором был Меттерних – раз и навсегда должны были положить конец всем “демагогическим проискам” и покончить с духом ниспровержения. Германский сейм принял 20 сентября 1819 года университетский закон, закон о прессе, закон о следствии (“Решение относительно учреждения центрального ведомства для расследования вскрытых во многих союзных государствах революционных происков”), которые в отдельных странах были обнародованы и вступили в силу. Германские правительства создавали для союзных рамочных законов, как их можно назвать, инструкции об исполнении, чтобы таким образом формально сохранить свой суверенитет. Их единодушие было следствием страха как перед революционерами, так и перед великими державами Австрией и Пруссией; примером тому может служить Саксония-Веймар, которая из-за активности студенческих корпораций в Йенском университете стала мишенью Меттерниха и Фридриха Вильгельма III. Дело не ограничилось Карлсбадскими решениями. Как обычно в истории, один закон о подавлении повлек за собой другой: в 1824 году – “Закон о наказаниях” (“Союзное решение о наказаниях в целях поддержания и укрепления внутреннего спокойствия и порядка в Германии”, новое издание 1830 года); в том же духе в 1832 году “Шесть статей”, которые неделю спустя превратились в десять; в том же году запрещение петиций и акций протеста (“против принятых союзом в интересах внутреннего спокойствия и законного порядка союзных постановлений”); в 1834 году – “Шестьдесят статей”, которые представляли собой итоговый протокол Венских конференций министров (продолжавшихся с января до июня) и полностью содержались в тайне до 1843 года, хотя некоторые из этих статей, в частности, о юрисдикции союзного третейского суда и надзоре за университетами стали уже в том же году официальными союзными законами; в 1835 году – меры против союзов подмастерьев, запрет сочинений “Молодой Германии” (Генрих Гейне, Карл Гуцков, Генрих Лаубе и др.); в 1836 году – положение о наказании за государственную измену. Все вместе взятое: конгломерат законов, направленных против университетских свобод, свободы прессы, слова, собраний и объединений, – опустилось как свинцовая плита на всю общественную и, как следствие, политическую жизнь Германии. Разросшийся полицейский аппарат, цензура, бесчинства шпиков,

напоминающие инквизицию следственные органы, “процессы демагогов” заполонили общественную жизнь. Германский союз превратился в своего рода центральное “руководство действиями” в борьбе против национально-демократических, либерально-конституционных движений, и временами казалось, что союзные государства низведены до уровня исполнительных органов; однако поскольку Австрия и Пруссия были сильнейшими и по-настоящему руководящими союзными государствами, можно сказать и наоборот: что они использовали весь союз как средство сохранения своего внутреннего и внешнего господства.

Однако историческая справедливость требует отметить следующее: несмотря на то, что концом политики “наказаний” стала революция 1848-1849 годов, которая означала вопиющее поражение “меттерниховской системы” и которая, пусть и потерпев поражение, принесла в германский политический климат глубокие изменения с большими последствиями, оба основных закона союза, Союзный акт и Венский Заключительный акт, положили начало конституционному процессу в Германии и Австрии. В них были даны гарантии прав личности (свобода вероисповедания, слова, совести, право на жизнь, свободу, собственность, свобода передвижения); регламентированы взаимоотношения отдельного гражданина и государства, представительства и правительства, германских государств друг с другом; мы находим здесь правовые положения, которые могли послужить не только правительствам против своих народов, но и народам против своих правительств, как показал пример Брауншвейга. Хотя конституционное развитие после 1819 года постоянно сокращалось, все же Меттерних никогда не допускал планов государственного переворота, в том числе и со стороны князей. Он не любил конституции, глубоко не доверял им, но выступал за их сохранение и корректное применение там, где они уже существовали. Он помог воспрепятствовать тому, чтобы его собственная страна – Австрия получила конституцию и сделал все для того, чтобы в конституциях и вопреки им обеспечить прерогативы короны, превосходство исполнительной власти, но в то же время он отклонял, даже отбрасывал все акты одностороннего нарушения конституции или “государственный переворот сверху”. Он желал спокойствия и господства права, а не произвола; незаконных действий законных правителей, как, например, герцога Карла Брауншвейгского, он терпеть не собирался. Направленные против свободы законодательные меры в союзе и государствах он считал правовыми в соответствии со своим пониманием права, государства и свободы. Хотя на многочисленных процессах о преследовании демагогов и о

государственной измене, особенно после нападения на стражу во Франкфурте, было вынесено много приговоров о лишении свободы, даже о смертной казни, ни один из них не был приведен в исполнение; никто за свои политические деяния не сидел пожизненно за решеткой; через несколько лет была объявлена амнистия. Это не оправдывает дух и практику несвободы, но ее методы по сравнению с XX веком выглядят сравнительно мягкими Меттерних считал самого себя “лекарем революций”, лекарем, который никогда не преступал рамок “врачебного искусства” и прекрасно умел его отличать от практики палача; лекарем, который предпочитал терапевтические методы хирургическим и несомненно искренне считал, что заботится о здоровье пациента, о котором тот не имеет никакого понятия и в глубине души понимает тщетность своего лечения. Он писал:

"Прежнее общество находится в упадке. Ничто не находится в покое… Общество достигло своего зенита. При таких обстоятельствах идти вперед означает спускаться вниз. Такие периоды кажутся современникам долгими, но что значат два-три столетия в анналах истории?"

КАНЦЛЕР ДОМА, ДВОРА И ГОСУДАРСТВА

В 1813 году Меттерних был возведен в звание неограниченного австрийского князя; в 1816 году благодарный император, которому он помог сохранить трон и страну, подарил ему Иоганнисберг, замок в Рейнгау, а в 1821 году назначил его канцлером дома, двора и государства, чтобы тем самым подтвердить выдающееся положение уже почти 50-летнего Меттерниха, который в течение двенадцати лет определял политический курс Австрии. Первые ассоциации, которые возникают при имени “Меттерних”, – это “Венский конгресс”, “дамский герой”, “премьер-министр Европы”, “консерватизм во плоти”. Если попытаться дифференцировать подобные общие представления, то выявляется их общая основа, которая называется “Австрия”. Это проявляется и в формальностях, которые являются выражением конкретной исторической ситуации: новый порядок Европы и Германии был заложен в Вене; конгресс, который привел к использованию системы Священного союза в качестве системы интервенции, проходил в Австрии; начало периода реакций в Германии навсегда связано с прекрасным богемским курортом Карлсбадом, а Венские конференции министров и Венский протокол считаются воплощением и высшей точкой подавления свободы. Это не случайно: хотя этого курса придерживались все германские государства, а Пруссия была впереди всех, все же в сознании современников Австрийская империя осталась символом реакции. Австрия означала застой, неподвижность и неизменность как принцип существования, и Меттерних был его воплощением.

И действительно: фундаментом, на который опирался Меттерних, была Австрия – как государственное образование и как жизненное и культурное пространство в широком смысле слова. Меттерниха нельзя понять, не понимая Австрию, Австрию же нельзя принять, если не воспринимать ее как некий европейский космос. А для этого необходимо отказаться от малогерманской национальной педантичной прозы и от модно-прогрессистского всезнайства. Дунайская монархия была особым случаем в истории: начальный процесс, подъем одаренного, энергичного в биологическом смысле дворянского рода над жизненными и служебными обстоятельствами до уровня сильнейших, до той позиции силы, с которой при благоприятных

условиях удается “большой прыжок” наверх, еще не является чем-то исключительным – подобный период Габсбурги разделяют почти со всеми династиями. Однако от всех остальных их отличает своего рода “коллективная сила клана”, сочетание духа приобретательства и власти с жизненной силой и удачей, которое в Европе было единственным в своем роде и которое я, как бы несовременно это ни звучало, назову историческим предназначением. С избрания королем графа Рудольфа Габсбургского в 1273 году начался путь, который, несмотря на тяжелые удары судьбы в XIV и XV веках, в конце концов превратил первоначально алеманский дворянский род в “благородный древний род”, династию, которая, опираясь на свои наследственные австрийские владения, с 1438 по 1806 годы (с перерывом в три года, 1742-1745) носила корону германских королей и римских императоров, в 1516-1700 годах – корону Испании, мировой державы, в 1526-1918 годах – венгерскую корону Стефана и в 1814-1918 годах – корону Австрийской империи. Даже если рассматривать только австрийскую линию дома, то следует признать ее чем-то исключительным, даже единственным в своем роде. Габсбурги придали государственную форму не одной нации, как Валуа и Бурбоны во Франции или Романовы в России; они не были и в дурном, и в хорошем, и в триумфе, и в падении представителями своего народа как Тюдоры и Стюарты в Англии; они также не сплотили территории в единое государство как Гогенцоллерны свою Пруссию. Они совершили и меньше, и больше: с помощью заключения браков, наследования, договоров (а в редких случаях с помощью войн) они создали такой конгломерат стран и корон, который стал “империей” не благодаря конституции, или одной нации как основе, или языку, а только благодаря общей династии. Герцогства Австрия и Штейермарк, в которых она господствовала после победы короля Рудольфа над Оттокаром Богемским в 1278 году, образовали точку кристаллизации, вокруг которой собирались в течение столетий владения и королевства и стали в конце концов тем, что мы называем “габсбургское государство”. Удивляет прочность династии, несмотря на все “братские раздоры в доме Габсбургов”, удивляет ее непрерывность, которую не смогло нарушить даже прекращение в 1740 году мужской линии (тут же был “интегрирован” Лотарингский дом); но более всего удивительна ее государствообразующая и государствосохраняющая сила. Под скипетром Габсбургов было объединено более дюжины народов, корон, владений самого различного государственно-правового положения; на Верхнем и Нижнем Рейне, в альпийских странах, в Италии и на Балканах.

Границы империи менялись, передвигались. Одни области исчезали, другие появлялись. Только Вена, только династия “император” оставались неподвижным полюсом. Империя двуглавого орла не была конфедерацией – по крайней мере во времена Меттерниха, до “соглашения” с Венгрией 1867 года, – не была союзом государств (хотя подобные попытки были и при Иосифе II, и в неоабсолютистскую эпоху Франца Иосифа после 1849 года). Это был перенесенный в новое время вариант средневекового государства: император и король объединял в своей персоне части государства в единое целое, местное дворянство сохраняло по отношению к нему верность и лояльность, составляя значительную часть офицерского корпуса, высшего чиновничества, дипломатов и высшего клира. Будучи органически сложившимся образованием, которое основывалось на традиционных связях, совместном опыте, на сознании общности, сформировавшемся вследствие долгой общей исторической судьбы, Австро-Венгерская монархия была насквозь искусственной, но в то же время восприимчивой конструкцией. Внутриполитическая структура, взаимоотношения стран между собой и с Веной, почти неразрывное смешение областей, управляемых из центра, полуавтономных и автономных, единство армии, финансов, внешней политики, различия во внутреннем управлении, в языках, в социальном и культурном уровне, короче: многообразие в единстве и единство в многообразии сделали дунайскую монархию одним из самых высокоразвитых государственных образований в истории человечества, по сравнению с которым централизованные национальные государства XIX века кажутся просто примитивными. Одним из самых больших и продолжительных исторических обманов нашего столь богатого на подобные обманы времени является ложь о том, что габсбургская империя была закостенелой, курьезной тюрьмой народов, подвергавшей их феодальному угнетению. Правдой же является как раз противоположное: она обладала большой внутренней гибкостью, была способна и готова к перестройке; цель создать нечто вроде “Великой Швейцарии” не казалась утопической, но была недостижима из-за националистического ослепления народов империи и внешних врагов; это был дом, в котором жили в безопасности как раз малые народы, которые своими силами не смогли бы обеспечить себе безопасность и свободное развитие. Когда победители в 1918 году разрушили этот дом и отпустили его обитателей, которые в слепом заблуждении кричали при этом о “свободе”, в самостоятельную государственность, они тем самым вытолкнули их из уравновешенного, способного к развитию и устоявшегося

сосуществования в шовинистически-националистическое расчленение страны на малые государства, которое обязательно должно было закончиться порабощением.

Все это Меттерних понимал. Не он сделал Австрию тем, чем она теперь стала со всеми своими сильными и слабыми сторонами и сложностями; не Австрия породила его; скорее всего, они были предопределены друг для друга своего рода “избирательным сродством”. Натура Меттерниха, направленная на сохранение, балансирование и воздержанность, нашла адекватное поле деятельности в государстве, которое существовало благодаря этим основным принципам и для своего существования нуждалось в их осмотрительном соблюдении. В крайне чувствительное, тонко вымеренное, колеблющееся равновесие австро-венгерской монархии нельзя было грубо вмешиваться в духе “новых веяний”; нельзя было превратить государство, объединенное на личностной основе, простым росчерком пера и прокламацией в современное централизованное государство или конфедерацию равноправных наций; нельзя было, не долго думая, заменить династические связи, которые создавались веками и были живы в сознании подданных, конституцией; нельзя было заменить выросшее из совместной истории чувство общности кодифицированным правовым зданием, основанным на умозрительных идеях, короче говоря: результат становления нельзя было заменить результатом конструирования. Во всяком случае, не в один миг – и здесь уместен критический анализ.

Наднациональная миссия Австрии в европейской истории, ее важность для континента и ее благотворная роль для народов Центральной и Юго-Восточной Европы не подлежат сомнению и не требуют оправданий. Попытка исполнить эту историческую миссию была не только “законной”, но и обязательной в практическом и нравственном смысле – обязанность, которой до последнего момента следовала династия Габсбургов и которой подчинился Меттерних. Выбора не было: император должен был предпринять самороспуск своего государства или пассивно наблюдать за его распадом, либо сохранять его силовыми государственными методами и защищать от внешних и внутренних врагов. Речь шла о праве и обязанности, когда он предотвратил отделение чешской, галицийской, итальянской, венгерской частей империй; вмешательство в итальянские и венгерские восстания – как и выступление против Сербии в 1914 году – представляло собой оборонительные действия. То, что борьба проиграна, еще не означает, что она была несправедливой, глупой, злой, просто она была неверной, несвоевременной,

“неуместной”; победа и поражение – не моральные критерии.

Упреки Австрии, Францу I Габсбургу и его государственному канцлеру можно продолжить: они пресекали не только националистически-сепаратистские устремления, но и боролись против либерализации, демократизации, внутригосударственного обновления и тем самым если не внесли свой вклад в будущую гибель монархии, то, по крайней мере, несут свою долю вины за революцию 1848-1849 годов. В этом есть правда, но все обстояло неизмеримо сложнее: тенденции к национальному обособлению и к либерально-демократическому конституционному государству нельзя рассматривать отдельно друг от друга.

Было просто невозможно дать, например, Лом-бар до-Венецианскому королевству конституцию, национальное представительство, чтобы тем самым не подтолкнуть соседние итальянские области к национальному обособлению и взаимному притяжению; далее, чтобы продолжить пример, нельзя было дать Ломбардо-Вснецианскому королевству одному конституцию и парламент и тем самым изменить его взаимоотношения с Веной, не предоставив того же другим частям империи; переход на конституционно-парламентарную форму государственного устройства мог произойти только для всех стран и только одновременно. Однако это повсеместно усилило бы национальные взрывные силы у немцев, славян и венгров. Кроме того, Венгрия тоже была многонациональным государством, которому также приходилось противостоять сепаратистским тенденциям своих меньшинств и национальностей. Поэтому разве было так непонятно, глупо и ошибочно, что император и государственный канцлер придерживались классической рекомендации не нарушать спокойствие в обществе? Это было совершенно ясно, хотя и являлось самообманом; ибо поскольку в историке-политической реальности и, следовательно, в тогдашней дунайской монархии ничто никогда полностью не останавливалось, то вопрос “двигать” или “не двигать” был только для вида. В историке-политической практике всегда есть только конкретные ситуации, которые вынуждают к действию, а при благоприятных условиях дают возможность альтернативных шагов. Бездействие – это тоже действие.

Франц I и Меттерних, чтобы уберечь империю от тенденций века, избрали путь простого сохранения существующего устройства; внешнюю и внутреннюю структуру многонационального государства затрагивать было нельзя. После революции 1848-1849 годов разыгрывались разные альтернативы, причем все мыслимые: неоабсолютистская молодого Франца Иосифа, двойная монархия Австро-Венгрия, частично

“триалистическое” решение наследника престола Франца Фердинанда и его круга (с южными славянами в качестве “третьей опоры” – это было похоже на вариант “Великой Швейцарии”), наконец, последняя и, так сказать, итоговая – разрушение, распад. И именно это с исторической точки зрения неизбежное решение оказалось самым худшим для Европы.

В течение почти тридцати лет после ухода великого Кауница в 1793 году звание государственного канцлера больше никому не присваивалось. Он, дед княгини Элеоноры Меттерних, десятилетиями был главной политической фигурой Австрии и империи, определявшей ее внешнюю и внутреннюю политику. Его место занял теперь, в 1821 году, муж его внучки, также в качестве высшего политического руководителя у руля дунайской монархии и Германского союза. Но насколько же положение преемника было слабее, беднее надеждами и перспективами! Разумеется, и у Кауница были враги, Австрия переживала тяжелые кризисы, империя находилась в процессе парализации, политика Кауница переживала победы и поражения, и итоговый баланс был скорее дефицитным. Меттерних вначале во внешней политике двигался от успеха к успеху, однако примерно с 1830 года эта политика все больше и больше застывала в треугольнике “консервативных восточных держав”, где сильнейшей была Россия, а не Австрия. Хотя и в Германском союзе государственный канцлер, который постепенно стал для всех свободолюбиво и национально мыслящих немцев самым ненавистным государственным деятелем эпохи, задавал тон во всем, что касалось подавления его врагов, но в конце всех усилий была буря 1848-1849 годов, которая сильнее всего разразилась в Вене и лишила корней могучий ствол.

Меттерних и далее сумел определять в союзе совместные действия с прусским и другими германскими правительствами, но ему не удалось сплотить все силы для позитивных задач; наоборот, здесь бразды правления все больше и больше ускользали из его рук, творческая инициатива перешла к другим прежде всего, к Пруссии, и Австрия оказалась в пассивной роли примкнувшего, мимо которого проходят события. Пример:

Германский таможенный союз. С 1826 года, если говорить о первом таможенном договоре, который был заключен между Берлином и Анхальт-Бернбургом, и по 1842-й – год присоединения к союзу Люксембурга, Пруссии удалось создать торговое и таможенное единство и тем самым экономическое единство в пределах Германского союза, которое считается важнейшим предварительным этапом основания государства 1871 года. Постепенно к таможенному союзу присоединялись

германские страны под руководством Пруссии, которое основывалось на смеси превосходства, давления, иногда грубого, иногда мягкого, и политико-экономического честного поведения. Его ядром было слияние двух таможенных союзов – прусско-гессенского 1828 года с баварско-вюртембергским того же года, которое состоялось в 1833 году, пройдя предварительно промежуточный этап прусско-южногерманского торгового соглашения 1829 года. В 1842 году из 39 членов Германского союза 29 входили в Германский таможенный и торговый союз (“налоговый союз”), другими словами, все, кроме Австрии и проводника британской торговой политики – Ганновера, государства побережья моря или расположенные вблизи от него.

Если можно подвергнуть сомнению качества Меттерниха как государственного деятеля, то именно на основании этого процесса. Германский таможенный союз, область действия которого (исключая Ганноверский налоговый союз) перекрывается позднейшим государством Бисмарка, по праву считается “важным прецедентом для национального и государственно-политического объединения Германии под руководством Пруссии”. Поведение Меттерниха во всем этом комплексе вопросов кажется необъяснимо поверхностным. Хотя он постоянно пытался достичь таможенного единства и использовал для этого некоторые средства дипломатического обихода, дело не трогалось с места; либо он совершенно не понимал важности проблемы, либо уклонялся от нее с той усталой небрежностью, которую можно было все чаще наблюдать у стареющего канцлера. Фридрих фон Моц и Карл Георг Маасен, прусские отцы таможенного союза, стояли на реальной почве. Статья 19 Союзного акта гласила: “Члены союза оставляют за собой право на первом заседании Союзного сейма во Франкфурте подвергнуть обсуждению принятые на Венском конгрессе принципы торговли и сообщения между различными государствами союза, а также судоходства”. Пруссия действовала не только на основании законности, но и по долгу службы, затрагивая эту тему. Даже если в процессе консолидации своей собственной таможенной области, то есть при вовлечении в нее анклавов, она действовала иногда непреклонно (например, в конфликте с Анхальт-Кетен), то она все же действовала согласно законам экономической целесообразности, которыми руководствовалось также большинство членов союза: с ними Пруссия заключила честные договоры, которые, разумеется, расширяли ее полномочия, но вместе с тем и учитывали экономические интересы партнеров. Они, и прежде всего представители Южной Германии, вступали в таможенный союз не

из любви к Пруссии, а потому что было ясно, что ни бундестаг не собирается проявлять какую-либо инициативу относительно упомянутой статьи 19, ни от Австрии нечего было ожидать альтернативы прусской концепции. То, что так случилось, то, что Меттерних, который обычно так мастерски умел использовать Союзный сейм в качестве орудия, не увидел и не использовал большие возможности влияния, которые давала Австрии статья 19, относится к его упущениям, имевшим тяжелые последствия для габсбургского государства. За тридцать лет до Кенигсгреца оно было вытеснено из экономики Германии, или, точнее сказать, ушло само; и в этом была значительная доля вины Меттерниха. Можно найти некоторые объяснения: наряду с определенными изменениями личности государственного канцлера в смысле некоторого расслабления – самовосприятие монархии, которая, будучи огромным многонациональным государством, не оценила вопроса немецкого экономического единства в полном объеме для своего будущего. Здесь непроизвольно напрашивается сравнение Великобритания – ЕЭС: она тоже долгое время из своего положения Commonwealth (Содружества), вообще из-за своей традиционной заморской позиции не могла найти “путь в Европу” и лишь в последний момент вступила на него, преодолевая большое внутреннее и внешнее сопротивление; то же произошло и с Австрией, но без британского “Все хорошо, что хорошо кончается”. Глядя из Вены на гигантскую империю, превратить которую в экономически единую потребовало бы неимоверных усилий, предпочитали заниматься своими собственными делами, которых было более чем достаточно, и не распознали вовремя исторического значения затеянного Пруссией таможенного объединения. В конечном счете в близорукости Меттерниха нашла свое отражение нечеткость взаимосвязей внешней и внутренней политики. В то время как Пруссия старалась превратить “немецкую заграницу” все больше и больше в “свою страну” – а таможенный союз означал именно это, – для дунайской монархии все немецкое, что лежало за пределами ее границ, все больше и больше приобретало характер “заграницы”. Меттерних смотрел на Германию совершенно иными глазами, чем Моц или Фридрих Лист, а именно – так, как руководитель великой мировой державы смотрит на какую-то область второстепенного значения, про которую нельзя точно сказать, относится она к внешней или внутренней политике.

И опять во весь рост встает вопрос о роли Меттерниха во внутренней политике. Как он считал, до сих пор он руководил Европой, но никогда – Австрией. Он считал себя дипломатом, человеком affaires efrangeres – европейской кабинетной политики.

Таким видел его мир, и в общих чертах так оно и было. Здесь проходили его границы, которые он признавал в приятные минуты. Насколько он блистал в салонах, производил впечатление на дипломатических переговорах, проявлял по отношению к подчиненным решительность, а по отношению к равным себе – независимое превосходство, насколько он был мастером в обхождении с коронованными особами и членами правящих домов, настолько же он был лишен какого-либо влияния на массы; он был полной противоположностью народному трибуну или партийному вожаку. Он был абсолютно непопулярен; увлеченность эмоциональным порывом толпы, созвучие с "общественным мнением" – все это было ему чуждо и глубоко противно. Он не входил в наиболее влиятельные силы XIX века и, в сущности, вообще их не понимал; из предреволюционной аристократической культуры он как чужестранный свидетель попал в зарождающийся индустриальный мир. Это было вызвано в определенной степени его долголетием: если бы он умер в 1835 году, как его император, то он в какой-то степени "незаметно", в русле общей смены поколений покинул бы сцену. Ибо за эти тридцать лет ушел в прошлое век – век Гете, классики и романтизма; между 1827 и 1835 годами умерли Бетховен, Карл Август Веймарский, Адам Мюллер, Штейн, Гнейзенау, Гете, Генц, Вильгельм фон Гумбольдт. Видение христианско-патриархальной Европы, о которой некогда мечтал Священный союз, окончательно растаяло. Июльская революция установила во Франции правление "короля-буржуа" – режим, полностью приспособленный к новому обществу владетельных буржуа, торговцев, предпринимателей, финансистов. Более чем на 80 лет западный либерально-демократическии лагерь опередил восточный консервативно-монархический.

Со смертью Франца I Меттерних утратил свою главную опору – и здесь опять одна из многочисленных аналогий с ситуацией Бисмарка, у которого смерть Вильгельма I вышибла из-под ног фундамент, на котором он стоял. Государственный канцлер приложил много усилий для того, чтобы обеспечить наследование трона ограниченному старшему сыну Фердинанду. Выбирая из двух зол – "малоодаренного императора" или "изменение порядка наследования", – он сделал выбор в пользу, на его взгляд, меньшего. Теперь его положение в монархии стало существенно слабее: поскольку состояние императора Фердинанда граничило с неспособностью к правлению, наиболее важные вопросы правления с 1835 года решал Государственный совет под руководством эрцгерцога Людвига, в который на правах

постоянных членов входили эрцгерцог-престолонаследник Франц Карл (младший брат правителя, отец тогда шестилетнего Франца Иосифа), Меттерних и граф Франц Антон Коловрат. Взаимная вражда последних в значительной степени блокировала практическую работоспособность совета, поскольку обоим эрцгерцогам решение государственных дел было явно не по плечу. Скончавшийся император Франц I действительно сделал все для того, чтобы последними распоряжениями сделать государство неподвижным: почти дебильный наследник, два малоодаренных эрцгерцога – тогда как способные к государственной деятельности и военному руководству эрцгерцог Карл, победитель Асперна и полководец, сражавшийся против Наполеона, и эрцгерцог Иоганн были сознательно обойдены, – и два глубоко враждующих министра; карикатура на монархическое правление.

Граф Коловрат в звании придворного канцлера, что уже чисто внешне наносило ущерб исключительному положению Меттерниха, был подвижным, гибким, честолюбивым человеком, который руководил всеми внутренними делами и финансами монархии. В отличие от Меттерниха, который с возрастом все больше и больше превращался в застывшего доктринера и постепенно лишился внешне– и внутриполитического поля деятельности, свободы выбирать пути и союзников, Коловрат учитывал новые, рвущиеся на свет силы и был готов к тактическим компромиссам. С 1840 года новым председателем придворной палаты стал барон Карл Фридрих фон Кюбек, который оказывал существенное влияние на руководство государством; он пытался оздоровить дефицитный государственный бюджет, реформировать налоговую систему, содействовал строительству железных дорог и телеграфа и стремился к некой ассоциации Австрии с Германским таможенным союзом. Он и Коловрат отличались от Меттерниха не либерализмом или демократизмом; “народ”, пресса, парламент и тому подобное были им так же противны, как и князю, но у них было более живое представление об изменениях эпохи, они считали, что сверху смогут повлиять на них, и не закостенели, как их коллега, в idee fixe, что смогут удержать колесо истории.

Если оказавшемуся в одиночестве канцлеру до сих пор удавалось доминировать в Германском союзе, более или менее держать в руках бундестаг и дворы, то теперь, во внутренних делах монархии, он испытывал возрастающие трудности с землями короны. Дело было не только в его личных противниках, таких как эрцгерцогиня София (супруга наследника престола,

мать маленького Франца Иосифа) или Коловрат, не только в росте оппозиции среди членов правящего дома, в кругах высшего дворянства Богемии, Венгрии, высшего чиновничества; подлинное сопротивление исходило от меняющегося политического сознания наций, которые стремились к самоопределению, самоуправлению и в этой борьбе использовали свои сословия, а позднее – постепенно формирующиеся политические партии. Австрия перед мартом: почти полная стагнация правительства и его политики при наличии буржуазно-либеральной оппозиции в германских и национально-революционного брожения в негерманских коронных землях, в Ломбарде-Венеции, Венгрии, Галиции, Богемии. Во всех этих частях империи политическая, конституционная, этическая, социальная, культурная ситуации были совершенно различны – большая тема, которой мы не можем здесь коснуться подробнее, – однако общим для всех них было возмущение против попыток Вены регламентировать экономику страны и против ее представителя Меттерниха, который даже больше, чем в Германии, стал в империи негативной символической фигурой – воплощением деспотизма.

Последние годы службы старого князя представляют собой тягостное зрелище – государственный деятель, переживший самого себя; старый рутинер, который не знал никакого другого лекарства против бурлящего времени, кроме физической силы государства, которого его враги при дворе и в правительстве все больше изолировали; бессильно наблюдавший полный отказ всех государственных и управленческих механизмов, которые он представлял в течение сорока лет. Причем он не просто наблюдал, а еще и подгонял этот процесс. Национальные, свободолюбивые, социальные мотивы оппозиции были ему настолько чужды и противны, что он не делал разницы между многослойными и часто раздробленными мятежными движениями и тем самым лишал себя единственной возможности их приостановить. Везде существовала радикальная и умеренная оппозиция, как, например, в Ломбардо-Венеции: здесь венецианец Манин разработал программу реформ, которая предусматривала административную независимость от Вены, восстановление буржуазных свобод и выборное национальное представительство, но в то же время сохранение личной унии с Австрией. Однако Меттерних повторил свои старые слова, сказанные летом 1847 года, о том, что Италия – это чисто географическое понятие, и венское правительство упустило свой шанс, когда в 1847 – 1848 годах начались беспорядки, Манина в январе арестовали. В марте 1848 года разразилась революция, и Манин, выпущенный из тюрьмы, стал ее руководителем в Венеции.

Особенно сложной была ситуация в Венгрии; королевство – о чем уже упоминалось – само было многонациональным государством, в котором мадьяры составляли едва половину населения. Оппозиция была еще более разнородной и раздробленной, чем где бы то ни было: вопрос о независимости, то есть о характере взаимоотношений с Веной; религиозный вопрос, касающийся смешанных браков и вообще положения протестантов; вопрос о языке, то есть замене официального латинского языка на мадьярский; внутривенгерский национальный вопрос, например, противоречия между мадьярами и хорватами; затем вопрос о конституции, в котором противостояли друг другу старые феодальные магнаты, умеренные либералы, радикальные левые (Кошут) – все это в своей многогранности и противоречивости, отстаиваемое страстными, возбужденными людьми, не было учтено Меттернихом ни в его памятной записке эрцгерцогу Иосифу в 1844 году, ни в его "Афористических заметках о венгерских делах". И здесь венская политика "реформы сверху" потерпела полный провал, венгерская революция стала самой тяжелой и была подавлена в 1849 году только с помощью русского оружия.

В Галиции возмущение носило более сильный социально-революционный характер, чем в других частях империи: вопиющая привязанность к земле с трудовой обязанностью ("робот"), с полной правовой зависимостью вызывала особую ненависть еще и из-за того, что помещики были польскими дворянами, а "роботы" – украинскими крестьянами. Социально-революционное повстанческое движение этих украинцев (русинов) было направлено против польских верхних слоев и тем самым против их национально-революционных планов. Галицийский мятеж 1846 года, инициированный польским эмиграционным центром в Париже, начался как восстание национального польского верхнего слоя против Австрии и захлебнулся в социально-революционном восстании украинских крестьян против их мучителей. В подобных обстоятельствах Меттерних достиг своего последнего сомнительного политического успеха. На Венском конгрессе в 1815 году державами-преемницами Польши, то есть Австрией, Россией и Пруссией, была создана "Краковская республика". Будучи последним польским государственным образованием, остатком некогда большого королевства, этот город-государство приобрел для Польши символическое значение и стал вскоре средоточием польского национального патриотизма, местом сбора инсургентов. Еще в 1842 году Меттерних напрасно пытался добиться его присоединения к Австрии; теперь же под

впечатлением краковского восстания в феврале 1846 года ему удалось заручиться согласием России и Пруссии на аннексию.

Опять-таки совершенно иначе, чем в упомянутых коронных землях, обстояли дела в Богемии – не в последнюю очередь потому, что страна короны чешских королей была единственным из всех габсбургских королевств, которое входило в старую империю и вследствие этого в 1814 году было включено в Германский союз. Здесь пересекались и пронизывали друг друга борьба за конституцию и борьба национальностей: абсолютистски-центристский курс Вены, оппозиция старых сословий правительству, напряженность между дворянством и патрициатом, противоречия между феодально-сословным богемским ландтагом и чешским национальным движением – все это вело к постоянному размыванию и пересечению фронтов. Четким отражением всего этого стала богемская революция 1848 года с ее сословно-консервативными, либерально-демократическими и социально-революционными элементами, со Славянским конгрессом, антинемецкими и антимадьярскими выступлениями. Пражское восстание в июне 1848 года, как и все восстания этого года, в значительной степени вдохновленное студентами, удалось подавить только военной силой, однако национальное движение чехов, которые действовали против своих меньшинств с той же суровостью, в которой они обвиняли немцев и венгров, больше нельзя было сдержать, и оно стало одним из разрушительных факторов дунайской монархии.

Когда распространявшаяся из Франции как лесной пожар Февральская революция в начале марта достигла Будапешта, а затем Вены, когда раздались первые выстрелы по толпе, когда начали линчевать чиновников, громоздить баррикады, поджигать фабрики и штурмовать участки ненавистной полиции, двор прибег к испытанному средству – принести народному гневу жертву, роскошную жертву, которая пришлась бы по вкусу в равной мере и жертвователям, и получателям жертвы. Обошлось без долгих размышлений, выбор дался легко, да его и не было:

Меттерних должен был уйти. Народные вожди требовали его отставки; эрцгерцогам и Коловрату это было как нельзя более на руку; бедному императору – безразлично. Когда почти 75-летний государственный канцлер напомнил, что он поклялся покойному императору на его смертном одре никогда не покидать его сына, но теперь считает себя освобожденным от клятвы, если этого желает императорская семья, и эрцгерцоги это подтвердили, князь объявил о своей отставке, а Фердинанд I заключил: “В конце концов, я суверен и сам могу решать. Скажите народу, что я со всем согласен”. Сорок семь лет прослужил Меттерних

габсбургскому государству, вывел его из глубочайшей пропасти во времена Наполеона, десятилетиями ответственно руководил им, полстолетия он был верным слугой династии, которая в этот день, 13 марта 1848 года, с облегчением от него избавилась. “Я выступаю против ожидаемого утверждения, – заявил он представителям граждан, которым он сообщил о своей отставке, – что я унесу монархию вместе с собой. Ни у меня, ни у кого-либо другого недостаточно крепкие плечи, чтобы унести монархию. Если монархии исчезают, то это происходит потому, что они сами сдаются”.

НА ХОРАХ ВРЕМЕНИ

Историческое и политическое воздействие зависит не только от активного отправления власти: и вдали от ее регулировочного механизма возможно воздействие – “воздействие издали”, так сказать; возможность непосредственно принимать решения сменяется более тонкой: “программировать” тех, кто принимает решения сегодня или будет принимать завтра, иногда даже послезавтра. Это достаточно широкий и глубокий процесс: так, Карл V после своего отречения принимал еще живое участие в политической жизни, его спрашивали – и он давал совет, его сын Филипп II в духовном и религиозном отношении полностью был его последователем. Наполеон I те неполные шесть лет, которые были ему дарованы на острове Св. Елены, использовал для того, чтобы создать из своей исключительной жизни героический миф и внедрить его навеки в сознание современников и потомков: Бонапарт умер после того, как он посеял бонапартизм и словно заключил свою империю в семенную коробочку, из которой тридцать лет спустя проросла измененная форма. Бисмарку после ухода в отставку было отпущено еще восемь лет жизни; лишь в этот период, частью охотно, частью против воли, он превратился в железного богатыря, в “старца саксонского леса”, в символ величия Германской империи, как некогда Барбаросса в Кифхойзере, но прежде всего он стал живым идолом всей несоциалистической оппозиции против злосчастного Вильгельма II и его курса. Все они в свои последние годы сумели эффективно использовать преимущества своего положения: хотя утрата власти была для них крайне болезненной, однако, освободившись от груза дел и сохранив при этом свой “статус” и авторитет, они имели гарантию того, что будут услышаны: в мемуарах, беседах, письмах они давали отчет себе, но прежде всего миру, о своих деяниях и побуждениях, о своих намерениях, иногда и о своих ошибках, и все это с определенной целью, чтобы создать о себе определенное мнение у современников и часто вонзая “гарпун” в тело преемников и наследников, очень редко с подлинным самоуглублением и настоящим испытанием совести.

Все это относится и к Меттерниху. У него оставалось еще одиннадцать лет, чтобы рассказать обо всем, что он сделал, в своих не прекращавшихся до самой смерти устных и письменных высказываниях по вопросам австрийской и европейской политики. Со своим наследием он обращался как князь Пюклер со своим парком: он охранял его, ухаживал за ним, прореживал, устраивал в нем представительные аллеи и укромные тропы с

пронизанными солнцем просеками и тенистыми дубравами, не было недостатка в фонтанах и произведениях искусства, но в то же время и в любезных обманах, которые пытались изобразить природу там, где было только искусство садовника, или показать широкий путь там, где было всего лишь хождение по кругу. Тот, кто посетит такой парк, не узнает, что такое свободный ландшафт и неприкрашенная природа. Однако он насладится подражанием, которое преобразует действительность в произведение искусства. Так происходит и с читателем “Посмертных бумаг” Меттерниха. Здесь перед нами не проходит эра Меттерниха, не выполняется требование Ранке показать все так, “как было на самом деле”, но мы узнаем о другом: как один из великих представителей эпохи видел ее, судил о ней, участвовал в ее формировании; отсюда становится ясно не то, какой была она, а то, каким был он. Кого и что порождает век, кто и что накладывает на него свой отпечаток – это взаимообусловливает, пронизывает и взаимно объясняет друг друга. С этой точки зрения “Посмертные бумаги” Меттерниха являются источником первостепенной важности. Они не являются автобиографией в классическом смысле этого слова; попытка автопортрета в первом томе является довольно слабой частью книги; напротив, Наполеона и Александра I он изобразил блестяще; и все же восемь томов, это собрание дипломатической переписки, личных писем, записанных бесед, актов, заметок и отчетов представляют собой впечатляющий гобелен, изображающий главные события этого бурного века, сотканный одним из самых значительных его участников и режиссеров. Это “оформленное наследие” дополняется почти необозримой массой корреспонденции государственного канцлера, а также воспоминаний, свидетельств, изображений современников, с которыми он вступал в отношения – близкие и не слишком, длительные или эпизодические, человечески-личные или официально-дипломатические. Жизнь Меттерниха – имеются в виду все ее аспекты – относится к наиболее хорошо изученным и исследованным в новой истории, в этом отношении с ней можно сравнить только жизнь Гете и Наполеона I.

Годы “на хорах времени”, 1848-1859, относятся с этой точки зрения к наиболее показательным. Досуг и занятость, ответы на вопросы и консультации, советы и их невостребованность, ангажированность и разочарование уравновешивали друг друга. Прощание с должностью произошло внезапно, а прощание с политикой – лишь со смертью, изгнание продолжалось три с половиной года, с 1848 года, когда старик, впрочем, удивительно бодрый, подтянутый и полный достоинства, 14 марта вместе со своей семьей отправился в бегство в Англию, которое

продолжалось вплоть до того сентябрьского дня 1851 года, когда он вновь возвратился из своего замка Иоганнисберг в свой дворец в Вене. Он миновал первую и единственную пропасть в своей жизни, пребывание на дне пропасти было кратким, но он испытал все, что бывает в таких случаях: свержение, за которым последовали травля, изгнание, бегство с фальшивыми паспортами, мучительные ситуации разного рода, иногда даже сопряженные с опасностью для жизни; всю гамму унижений, которые обычно ожидают лишившегося власти: отречение, клевета, придирки в большом и малом, презрение, материальную нужду; в те годы между 1848 и 1850, казалось, не осталось ничего дурного, что бы не говорилось и не распространялось о Меттернихе и чему бы не верили.

То, что могут ненависть и чувство мести тогда, когда общественное мнение с помощью прессы представляется в виде “опубликованного” мнения, испытал на себе уже французский ancien regime, и это же в полной мере довелось испытать Меттерниху. Впрочем, если мерить по судьбам многих, свергнутых до него и после него, от Валленштейна до Дольфуса, судьба обошлась с ним весьма снисходительно. И все же он познал и человеческое убожество, и человеческое благородство; никогда в изгнании, ни в Англии, ни (с октября 1849 года) в Бельгии, он не находился в изоляции, никогда он по-настоящему (во всяком случае, “относительно”) не испытывал нужды; и хотя молодая королева Виктория и ее супруг принц Альберт особо его не ценили, а еще меньше премьер-министр лорд Пальмерстон, все же князь возобновил свою старую дружбу с Веллингтоном и установил дружеские отношения с Дизраэли, лидером консерваторов. Не было ни одного политического процесса, о котором Меттерних не высказал бы своего суждения, в особенности шагов Вены. По мере того как шел на убыль революционный прилив в Европе, уже почти восьмидесятилетний Меттерних вновь становился оракулом всех консервативных сил континента. К его самым преданным почитателям примкнул теперь Фридрих Вильгельм IV, патриархальный романтизм которого, сломленный Берлинской революцией, все больше и больше превращался в чистую реакцию. 18 августа 1851 года, через двенадцать дней после визита прусского представителя при Франкфуртском бундестаге Отто фон Бисмарка он посетил князя в Иоганнисберге по пути на свой корабль в Кельн. Это была – или должна была быть – демонстрация победы над революцией. “Я не смог бы заставить себя, – заверил король, – проехать мимо, не увидев Вас. Однако своим появлением в Иоганнисберге я одновременно хотел бы засвидетельствовать свое почтение герою

дня, моему другу, которому мир обязан столь долгими годами мирной жизни". Хотя подобная стилизация не может быть достоверно отнесена к "памятнику миру", однако возвращение великого старца в Вену превратилось в двойной, пусть даже затаенный триумф: для победителей 1848-1849 годов, сил монархической реставрации, которые чувствовали символический характер этого возвращения и использовали его, и для самого Меттерниха. Он, который три года назад как опальный бежал через пол-Европы, возвращался теперь домой почти как властитель; в Мангейме он жил в замке в качестве гостя великой герцогини Стефании; в Штуттгарте он был гостем короля, затем его приветствовал представитель баварского короля, в Линце его ждал наместник Верхней Австрии, он путешествовал с придворными процессиями и отдельным экипажем, с почтой и пароходом, он принимал по пути австрийских дипломатов, высших чиновников и офицеров и въехал в Вену вечером 24 сентября через довольно молчаливую толпу зевак, в свой дворец на Реннвег. Он был дома, и, несмотря на все врожденное и приобретенное хладнокровие, его все же наполняло глубокое удовлетворение. 2 октября из Галиции возвратился император Франц Иосиф, на следующий же день он посетил государственного канцлера двух своих предшественников, деда и дяди; 21-летний император, перед которым лежал, еще скрытый от всех взоров, долгий путь страданий, более двух часов советовался со старым государственным мужем, который выполнил свою работу. Можно было бы сказать "Австрия в одной комнате", ибо эти два человека, жизни которых укладываются на отрезке времени более 143 лет, своеобразно олицетворяли империю. Оба дожили до 86 лет, их деятельность простиралась от Французской революции до предвестья русской, они стояли на переломе мира, который еще не закончен и не измерен до конца и, на фоне которого вся наследственная империя Австрия, Австро-Венгерская монархия, кажется просто историческим эпизодом; монументальные образы обреченного на гибель строя, борцы за проигранное дело, порою прозревающие, даже знающие это и тем самым приобретающие трагический размах.

В 1801 году Меттерних начал свою карьеру в Дрездене, полстолетия спустя старец возвратился сиятельным пенсионером в Вену, реабилитированный и более того – победитель. По крайней мере, внешне. Однако, как некогда, станем вновь рядом с ним и взглянем на Европу: как в 1814 году казалось, что революция и империя побеждены силами старого порядка, но этот старый порядок так нигде и не удалось восстановить, так и в 1848-1849 годах: хотя революционные силы были побеждены, но

глубокая, лишь обманчиво прикрытая пропасть отделяла европейское общество 50-х годов от предреволюционного. Особенно это относилось к тем государствам, которые стали ареной революционных выступлений. Во Франции Вторая республика, ставшая результатом Февральской революции 1848 года, оказалась недолговечной; именно ее плебейские компоненты, которые президент Луи Бонапарт умел мастерски использовать в своих интересах, быстро переросли в диктатуру: давно опробованное нарушение конституции и прав и санкционирование этого “сувереном”, народом, расчистило путь к власти племяннику, который представлял собой вульгаризованное издание своего великого дяди; в 1851 году он стал президентом сроком на десять лет, а в 1852 году был избран императором. Тем самым революция превратилась в консолидацию власти, основанную на консенсусе широких слоев, которая позволила Франции в течение двух последующих десятилетий продолжать свою хоть и изменчивую, но одновременно амбициозную великодержавную политику.

Не хватало совсем немногого, чтобы объединенные силы, настроенные национально-германски и конституционно-демократически, благодаря победоносным революциям в союзных странах, прежде всего в Берлине и Вене, достигли своей цели: конституционного государства, созданного народом через парламент и поддерживаемого народом через парламент. Оно тогда уже почти возникло: новая малогерманская империя – творение народа, вырванное у князей, во главе с императором из дома Гогенцоллернов и без участия Пруссии. Если брать поверхностно, то эта попытка не удалась из-за отказа Фридриха Вильгельма IV принять императорскую корону из рук народных представителей, но глубинной причиной была политическая реальность. Только если бы в Берлине и Вене победила революция, то есть если бы традиционные феодальные силы ушли со сцены, могла бы осуществиться подобная народная империя. Однако в конечном счете революция была побеждена и в Вене, и в Берлине, старая государственная власть разгромила ее силой оружия. Уже одного этого было достаточно, чтобы все, что происходило потом, стало боем с тенью, риторикой, далекой от действительности. Бурные 1848-1849 годы впечатляющим образом подтвердили результат тысячелетнего исторического опыта: любая борьба социальных и политических сил, как только она вступает в фазу физической, материальной конфронтации, неминуемо достигает точки, когда все решает сила оружия. Тогда победа оказалась на стороне династии Гогенцоллернов, династии Габсбургов и их старого режима правления – против

представителей народа, кто бы они ни были. Когда армия сохранила верность и повиновалась своим князьям, игра была практически проиграна, даже если местами ее еще дилетантски смело продолжали.

Отказ Фридриха Вильгельма IV был обусловлен не его симпатиями к Австрии; он был вотумом не за “Великую Германию”, а за солидарность князей и милость господню. План создания новой империи без Австрии, под гегемонией Пруссии продолжал существовать, делались энергичные попытки его воплощения в жизнь, но на этот раз как дело рук князей: союз трех королей (Пруссия, Саксония, Ганновер: южно-германские королевства Бавария и Вюртемберг остались в стороне), Эрфуртский союз, а затем Ольмюц – отказ Пруссии от уже почти реализованного плана, который был сорван столь же ловкой, сколь и твердой политикой австрийского премьер-министра и министра иностранных дел князя Феликса Шварценберга. Так в самую последнюю минуту рухнула вторая попытка, на этот раз сверху, основать малогерманскую империю: из-за “нет” Австрии, которая, как повелось издавна, имела приверженцев на юге и в центральной части Германии, и в отношениях с Пруссией готова была довести дело до войны. Ольмюцкое предварительное соглашение от 29 ноября 1850 года хотя и нанесло ущерб авторитету Пруссии и ее влиянию в Германии, поскольку по всем спорным вопросам – голштинскому вопросу, интервенции в Кургессен, образу действий и отношению к союзной реформе – она согласилась с линией Вены, но победа Шварценберга, это “бегство вперед”, оказалась пирровой победой. Хотя габсбургскому государству удалось подавить революцию, которая была здесь самой опасной и кровопролитной в Европе (впрочем, в Венгрии только с помощью войск царя Николая I), что в итоге привело к длительному и тяжелому грузу австрийской внешней политики; хотя габсбургское государство предотвратило возникновение “прусской империи” немцев, – но оно не смогло поставить на ее место “австрийскую империю”. Не удался “семидесятимиллионный план” Шварценберга, то есть включение всей Австро-Венгерской монархии в Германский союз, который, будучи организован как австро-прусский кондоминиум, все же должен был подчиняться явному руководству Вены и образовать нечто вроде свободного тыла для Австро-Венгерской великой державы. Вероятно, молодой император Франц Иосиф мог бы стряхнуть основы конституционализма, установить военно-автократическое правление по типу русского – и пока был бы жив Шварценберг, успешно, – но тем не менее: и этот неоабсолютизм стоял бы на шаткой почве, и Австрия не могла уйти от

конституционализма столетия, как и Пруссия, и в конечном счете навязанные конституции (австрийская 1849 года, пересмотренная прусская 1850 года), как бы их ни истолковывали, сужали, унижали, все же оставались конституциями, уничтожить их было уже невозможно.

Меттерних понимал глубокие взаимозависимости, которые здесь были только намечены; он всегда был дальновидным диагностиком – вплоть до границы, перейти которую ему было заказано. Не только в его внешнеполитической концепции – европейский "концерт" держав с Австрией в качестве "уравновешивающего регулятора", – не только в его внутриполитическом рецепте – поддержание статус-кво внутри дунайской монархии с помощью армии и полиции, – не только в его позиции относительно "германского вопроса", о чем уже подробно говорилось, он был человеком старого времени, монолитом, на котором дух времени не оставлял никаких следов; эта почти феноменальная стагнация характеризовала и его взгляд на мир и людей. Порядок в мире, по крайней мере в Европе и Австрии, был установлен Богом, о котором он особенно не распространялся и который явно не был Богом Нового Завета: сверху донизу все было устроено законно и разумно, правитель, дворянство со своей иерархией, священнослужители, буржуазия, ремесленники, крестьяне, поденщики; соответственно этому все – от замка до хижины, от богатства до бедности, от правления, повелевания, суда до подчинения, исполнения, смирения – было упорядочено и ранжировано целесообразно и неизменно, как сам мировой разум, от которого проистекал этот порядок. Это была "конституция" как он ее понимал, единственно верная, которую он мог признать, не записанная, не изданная и не выторгованная, а порядок бытия, о котором так же нельзя рассуждать и спорить, как о том, почему в доме крыша наверху, а погреб внизу или почему дети подчиняются родителям, а не наоборот. Тот, кто пытается это изменить – таково было его убеждение, – либо глупец, либо преступник, а скорее всего и то, и другое.

На этой глубокой убежденности, которая у него никогда не менялась, которую он даже в предшествующие смутные времена считал пусть и игнорируемой, но незыблемо правильной и в конце концов побеждающей, были основаны его рекомендации и методы. Он проявил удивительную слепоту в отношении тех глубинных социальных, политических, культурных изменений в Европе, которые стали результатом технико-индустриального развития, возникновения рабочих масс, полного распада статичных патриархальных связей и их медленной, но уже ощутимой замены динамичной и всегда мобильной системой

функций; короче, он не сумел увидеть, что европеец, в том числе и немец, в этом XIX веке из вросшего в христианско-феодальный порядок превратился в кочевника в самом широком смысле этого слова. Само собой разумеется, что при этом он не обратил внимания ни на “Коммунистический манифест”, ни на Маркса, ни вообще на социально-радикальные движения, которые возникали по всей Европе, и не вступал с ними в фундаментальную дискуссию. В 1843 году он рекомендовал поддержку крупного землевладения как единственно надежного гаранта против революционного переворота, и в 1853 году он не смог предложить ничего иного, чем восстановление полицейского аппарата по карлсбадскому образцу: он убежден, как он заявил в докладной записке, “что развитие собственной службы при высших полицейских инстанциях под четким наименованием социальной относится к самым своевременным надобностям”. Слово “социальный” в понимании Меттерниха обозначает все, что служит для “надзора за нездоровыми волнениями времени”.

Полностью застывшее мировоззрение Меттерниха определило и его отношение к князю Шварценбергу. Оно было двойственным; он признавал значительный государственный размах своего преемника и не скупился на похвалы тогда, когда видел в его действиях продолжение прежней линии, но всегда выступал против, когда Шварценберг направлял свою энергию на осуществление собственных замыслов. Общим для них обоих были воля к сохранению позиций Австрии как великой державы, к сохранению и возрождению Германского союза и укреплению монархического принципа как ядра авторитета государства. Но, с другой стороны, разница в интерпретации была существенной: для Меттерниха великодержавная политика Австрии означала использование особого авторитета австрийского государства в целях сохранения европейского равновесия и, наоборот, укрепление собственной позиции благодаря этому равновесию. Шварценберг же понимал великодержавную политику как жесткую, неизменную конкурентную борьбу, он понимал ее не с точки зрения законности, а империалистически. “Менее строгое истолкование права и применение правовых принципов, – говорил он, – часто становится настоятельным требованием самосохранения”, “лишь поступки, а не правовые принципы могут справиться с фактами”. Это принципиальное мировоззренческое различие проявилось точно так же и в отношении союзной политики. То, что для старого государственного канцлера представлялось системой балансов, гибким дифференцированным образованием, идеальным полем деятельности для опытной венской дипломатии, Шварценберг

воспринимал как арену борьбы, где нужно было победить Пруссию. Меттерних постоянно проводил в отношении Пруссии курс партнерского согласия (что временами сводилось к неприкрытому господствующему положению Австрии), Шварценберг же придерживался конфликтного курса с той целью, чтобы с помощью демонстрации и применения военной силы воспрепятствовать сопернику осуществить “малогерманское решение”. Что касалось внутренней политики: рейнландец Меттерних, ставший венцем, видел в Австро-Венгерской монархии руководимое по-немецки и носящее немецкий отпечаток государство, что включало в себя уважение традиционных прав сословий в негерманских землях короны; напротив, Шварценберг, принадлежавший к богемскому высшему дворянству, роду почти династического ранга, считался представителем “австро-славянской” мысли, германо-славянского равновесия в руководстве монархией и придерживался строгого централизма, не считаясь с исторической данностью. Насколько Меттерних отстаивал сильную власть правителя, “самодержавие”, сравнимое с царским, настолько же мало он был приверженцем чисто бюрократического абсолютизма, а административную вседозволенность на грани законности, политику “твердой руки” с виселицами и тюрьмами, как в Венгрии, он отвергал. В конечном счете все сводилось к одной-единственной рекомендации: восстановить “систему Меттерниха”, вернуть все, в большом и в малом, как было между 1814 и 1848 годами. Лишь после своего свержения он стал сторонником “реставрации” в строгом значении этого слова. Он застал еще преемника своего рано умершего преемника, графа Буоль-Шауенштейна, министра иностранных дел с 1852 по 1859 годы, посредственную личность, который был поэтому удобнее, чем Шварценберг, и состоял с ним в переписке; кайзер тоже иногда вежливо прислушивался к великому старцу; до последнего дня, уже на девятом десятке, от него исходили политические предложения, предостережения, мнения, но они уже ни на что не влияли. Он, который почти полстолетия провел на сцене, будучи одновременно актером и режиссером, затем, лишенный своей роли, пытался устроиться за кулисами и занять суфлерскую будку, сидел теперь в ложе, иногда дремал, мечтал, вспоминал, иногда посылал за кулисы письма со своими режиссерскими указаниями или говорил, свешиваясь через ограждение, – но его больше не понимали. Уже играли другую пьесу – или это была старая пьеса, только в новой редакции и с новым составом? Ибо, как он однажды написал, “политика основывается не на новизне, а на истории, не на вере, а на знании”. Он считал, что знает и то, и другое и следует ему:

“Моментом, который либеральное мышление обычно оставляет без внимания, является различие, существующее на практике у государств, как и у людей, между ходом событий размеренным порядком и скачками. В первом случае условия развиваются в логической, естественной последовательности, в то время как вторые разрывают связь между этими условиями. Все в природе следует по пути развития, следования событий одного за другим; лишь при таком ходе вещей возможно выпадение дурных веществ и образование хороших. Скачкообразные переходы лишь обусловливают всегда новые творения”.

МЕТТЕРНИХ-ЧЕЛОВЕК

В своих дневниках Фридрих Хеббель сообщает о визите, который он, находясь в Мариенбаде, нанес 22 июля 1854 года князю в Кенигсварте. Встреча произошла в парке. “Когда мы приблизились, он пошел нам навстречу, и после того как моя жена представилась, пригласил нас сесть. Среднего роста, он держится все еще благородно прямо, и для своих 85 лет (Меттерниху был 81 год) настолько хорошо сохранился, что наверняка проживет до 90, если не больше; подлинно аристократические тонкие черты, в которых есть, однако, нечто привлекательное, и кроткие голубые глаза, несколько влажные, даже слезящиеся. Как все полуглухие, он взял беседу на себя; он рассказывал нам историю своего парка”. О блестящей внешности, особенно молодого Меттерниха, есть множество свидетельств, а склонность самому вести беседу усилилась с возрастом и ухудшением слуха, но существовала всегда. В его монологах, рассудительность которых со временем все больше и больше утопала в многословии, проявлялось самодовольство и некоторая надоедливость: слушание утомляет, только собственная речь приносит радость. Те же черты наблюдались и у старого Гете, это в природе вещей: хочется поведать кому-нибудь о богатстве жизни на вершине общества и времени. Меттерних рассказал поэту о долгой и обширной истории парка, его ансамбля, говорил о старом садовнике, об отношениях с окрестными крестьянами, и все это подробно и в деталях. “Мне кажется, – замечает Хеббель по этому поводу в дневнике, – что я понял одно качество князя Меттерниха, благодаря которому все остальные, как бы значительны они ни были, только и смогли проявиться. Этот человек умеет делать нужное в нужный момент, и это главное; мы пришли, чтобы осмотреть его парк, поэтому он говорил нам о своем парке…"

Здесь гениально схвачен один, возможно даже главный секрет воздействия Меттерниха: он всегда был в настоящем, брал и отдавал каждому часу всю полноту своих возможностей и, таким образом, поднялся над всеми, у кого дни и дела проскальзывали между пальцев, поскольку они пренебрежительно считали их лишь средством для завтрашнего дня, который никогда не придет. Такое поведение не означает бессознательную деятельность в сегодняшнем дне, совсем наоборот. Меттерних не был склонен изнурять себя, “я не делаю ничего того, – обычно говорил он, – что могут сделать и другие”. Это умение поручать работу казалось подчиненным ленью; даже такой человек, как

Вильгельм фон Гумбольдт, считал его малоценным. Но на самом деле именно в этом проявляются способность и воля к концентрации. Он не любил вставать рано, как Фридрих Великий, и не торговался из-за мелочей, как его император Франц. Он не путал, как позже Франц Иосиф, обязанность с педантичностью; на тронах и в министерских креслах должны сидеть не аккуратные чиновники, а творческие люди, у которых голова и календарь свободны, чтобы отличать важное от неважного.

Всегда затруднительно писать главу типа “Ришелье как человек” или “Наполеон как человек”, ибо человек – это единство, разделить его изображение по “аспектам” – “политика”, “религия”, “любовная жизнь”, “чувство семьи” – всегда паллиатив, скорее требование дидактики, нежели нахождение истины. Естественно, это относится и к Меттерниху, хотя именно он культивировал это четкое разделение должности и человека. Он совершенно серьезно считал, что может разделить свою жизнь как человека и как государственного деятеля, и он отрицал и препятствовал любому смешению этих сфер. Пусть на более глубоких личностных уровнях это было всего лишь иллюзией, но на практике, так сказать, в “технике бытия”, он придерживался этого избранного им принципа. Это тоже существенная черта, которая отделяла его от романтиков, стремившихся к уничтожению границ и растворению контуров во всеобщем мировом движении.

Он оставался человеком старого режима и в том, что тяжелые и серьезные дела, важные государственные акции он делал не с жестами пафоса, не с мрачной роковой миной, а по крайней мере внешне, с непринужденностью, что далекие от него люди и враги неверно воспринимали как легкомыслие, даже цинизм. При этом его натура была достаточно глубока, чтобы, напоминая в этом отношении Бисмарка, испытывать тяжелую депрессию вплоть до истерического плача. Он ставил сам перед собой самые серьезные вопросы и в меру своей компетенции искал ответы. Он находил их в тиши своего кабинета, и они были проникнуты глубоким пессимизмом в отношении дальнейшей судьбы Австрии и Европы. Он, познавший страшную пропасть слова “напрасно”, не стал из-за этого бездеятельным и не отчаялся. Против исторических тенденций человечества помогает не декламация и не стенания о своих бедах. И он не бедствовал ни в каком отношении. Хотя сам он не придавал значения помпе и преувеличенной роскоши, но он привык как к само собой разумеющемуся к аристократическому стилю жизни с замками, парками, салонами, обслугой. Этот стиль никогда не становился предметом размышлений, он не ставился под вопрос с моральной точки зрения или теоретически, он был

проявлением естественного порядка, который включал в себя и дворцы, и дома, и хижины, короче, предусматривал градацию в разнообразии. Принять его означало быть свободным, свергнуть его означало быть несвободным. “Слово свобода означает для меня не исходный, а конечный пункт. Понятие "свобода" может основываться только на понятии "порядок". Без порядка в качестве основы призыв к свободе – это не более чем стремление какой-либо партии к некой воображаемой цели. В своем практическом воплощении призыв неизбежно превратится в тиранию… Она наиболее непереносима тогда, когда выступает под маской поборника дела свободы”. Высказывания Меттерниха полны подобных принципиальных моментов. Они, как правило, опираются на философию и опыт, но одновременно являются выражением определенной личной “классовой ситуации” и (отчасти неосознанного) желания сохранить ее в неприкосновенности. Можно с полным правом упрекнуть этого борца за порядок, который никогда не испытывал затруднений в духовном и антропологическом обосновании своей борьбы, что свою собственную жизнь он устроил с особыми оговорками и собственным порядком. С завидной наивностью гранд-сеньора старой школы он тщательно различал общепринятые религиозные и этические требования, которые следовало соблюдать и внушать народу, и свое собственное поведение как нечто такое, что не имеет к этому никакого отношения. Отмеченная Хеббелем способность в нужный момент всегда делать нужное логическим образом предполагает умение всегда правильно выделить этот “нужный момент”. Он был трижды женат: тридцать лет на графине Элеоноре Кауниц, которая умерла в 1825 году; брак, плодом которого стало семь детей и который протекал с любезностью, тактом, обоюдной свободой, без сцен, неловкости и душевных излияний. Затем, очень короткое время, он был женат на баронессе Антуанетте Лейкам (Leykam), моложе его на 33 года, которая могла бы быть его дочерью, но в 1829 году, через несколько дней после рождения сына Рихарда, вторично сделала его вдовцом. Два года спустя, в 1831 году, 58-летний князь женился на 26-летней графине Мелании Зичи-Феррарис (Zichy-Ferraris), в высшей степени темпераментной, интеллигентной и своенравной молодой даме, которая боготворила своего супруга, непоколебимо хранила ему верность при любых обстоятельствах, разделила с ним падение, изгнание, старость и умерла за два года до него, в 1857 году. Из трех браков это был самый счастливый, ибо даже у такого героя-любовника, как Меттерних, постепенно на первый план вышли старческие формы верности: удобство и привычка, а эскапады отошли в

прошлое; есть много свидетельств, что князь в трех своих браках был любящим, заботливым, внимательным супругом и отцом, который тяжело переживал смерть многих своих детей и именно благодаря страданию укрепился в своем традиционном чувстве семьи. Семья и брак были для него замкнутой в себе сферой так же, как политика и государственные дела, как искусство, церковь, садоводство: отдельные статьи, пусть и различного значения, в данный момент одинаково важные, но не связный текст. Этот искусный прием – поделить жизнь на области, не соприкасающиеся друг с другом, – помогал избежать личных осложнений и конфликтов, придавал князю ту ауру лоска и никогда не теряемой светскости, которая не знающему его рецепта окружающему миру казалась фривольностью и неискренностью.

Он наслаждался любовными связями, не омрачая себе удовольствие, полностью свободный от чувства супружеской вины; весь как огромная глава со множеством малых и крупных подглав, среди них – Каролина Мюрат, сестра Наполеона, которая доверяла господину австрийскому посланнику в Париже больше, чем следовало бы; герцогиня Вильгельмина фон Заган, Каталани, Джулия Зичи, русская княгиня Багратион и самая большая любовь его долгой жизни, графиня Доротея Ливен (1784-1857), супруга русского посла при лондонском дворе, которой он посылал письма, дающие, вероятно, самое глубокое представление о его мыслях и чувствах. Он любил, невзирая на разделение на фронты и лагеря, причем никогда не происходило никаких скандалов благодаря уже описанной “тактике распределения”, ни одна из дам никогда не жаловалась, не питала злобы и ненависти, за исключением Ливен. Подобно Казанове, любовь была для него искусством, каждая связь – утонченным взаимным подарком обольщения, возвышенным до неразменного, всегда нового и иного “произведения искусства”. Никаких диких, губительных страстей, никаких драм; правила игры исключали катастрофы. Они предотвращали катастрофы, в том числе и служебные. Для Меттерниха, в отличие от Людовика XV, любовные связи никогда не становились главной профессией, первое место занимали государство и политика, он работал днем основательно и интенсивно, но не как какой-нибудь начальник канцелярии, а как правитель (в то же время настоящий правитель работал как начальник канцелярии). Семейная жизнь, салонная болтовня, аудиенция у императора, посещение театра, чтение, любовь, – для всего было свое время, всему уделялось внимание. И все же многого не хватало.

Возможно, от государственного деятеля с подобным образом

жизни нельзя требовать “глубины”. Люди подобного склада и положения, как правило, не имеют времени для самоуглубления. Меттерних умел глубоко проникать в суть исторического движения государств и людей и блестяще формулировать свои выводы, но самого себя он до конца не познал, поскольку, в соответствии со своим образом жизни, видел себя только в каком-либо определенном аспекте – и в каждом отдельном секторе он считал себя в порядке. То есть совсем в порядке – но в этом и было его заблуждение. Как государственному деятелю недостает последнего, подлинного величия, потому что он не прошел путь духовного развития в подлинном, гетевском смысле “линьки” и из-за этого не дорос до требований гигантской многослойности своего века, так и Меттерних-человек не осуществился полностью, потому что он оставался запертым в искусственно отделенных друг от друга камерах жизни, которые в действительности – одно целое. Когда говорят о его “стоицизме”, благодаря которому он все переносил хладнокровно, особенно людей разного типа, то это заставляет задуматься; ибо в этом проявляется скорее не доброта, а то несколько усталое безразличие, которое лежало на нем, как тень.

Тем не менее к двум людям он испытывал действительно дружеские чувства и верность, к Фридриху Генцу, с никогда полностью не исчезавшей дистанцией более высокопоставленного, и к императору Францу – с опять-таки не исчезавшей дистанцией верноподданного. Генц был теоретиком системы Меттерниха; для внешне– и внутриполитических концепций князя, касались ли они Европы, Австрии, Германского союза, он готовил обоснования, формулировки и публицистические сражения. Урожденный берлинец, он был не только глубоким, всесторонне образованным писателем, высокоодаренным в политическом отношении, таким же рационалистическим консерватором, как и Меттерних (а не романтическим, как Адам Мюллер), и при этом, как и многие приезжие, “сверхавстрийцем”; он был также мотом и волокитой, постоянно в долгах, которые нередко оплачивал великий друг, к старости все более тяжелым, даже невыносимым, капризным и раздражительным, мог отчитать государственного канцлера и наставлять его на путь истинный в делах политики, впрочем, без особого успеха. Меттерних переносил все перемены настроения и выпады друга с полной невозмутимостью, в чем также проскальзывала едва заметная доля высокомерия, превосходства homme d'affaires над homme de lettres. После смерти Генца в 1832 году место друга рядом с Меттернихом осталось пустым.

На отношения между канцлером и императором наложила

свой отпечаток взаимная привычка: это было нечто большее, чем чисто деловые отношения, но меньшее, чем человеческое тепло. К этому Франц I был неспособен, даже не принимая во внимание преграду, отделявшую его как властителя. Ни один из Габсбургов не оставил по себе столь непривлекательного портрета своей личности: портрет холодного, сухого, полностью лишенного фантазии коронованного администратора, педантичного формалиста до крайней степени, совершенно глухого к духу и идеям любого рода, крайне жесткого и неподвижного из-за косности натуры, что, впрочем, не исключало “усердия”, а как раз порождало его. Если он вообще был способен как-либо выразить свое расположение, то он выражал его своему государственному канцлеру, а последний отвечал ему неизменной верностью, которую он хранил и после смерти кайзера. Это не означает, что отношения этих двух людей были простыми, они были так же тяжелы и сложны, как позднее взаимоотношения Бисмарка и кайзера Вильгельма I. Меттерних порой изнемогал от прямолинейного стиля правления императора, который бесконечно затруднял ход государственных дел медлительными ежедневными служебными сношениями, но, как правило, переносил это, как и многое другое, “стоически”. Однажды он сказал о Франце: “Он обращается с делами, как сверлильщик, который погружается все глубже и глубже, пока наконец неожиданно не выйдет в другом месте, не сделав ничего иного, кроме дырок в документах”.

Враги Меттерниха были более наблюдательны, чем его друзья. Возможно, это даже свидетельствует в его пользу: ненавидеть кого-либо – значит принимать его всерьез. Ненависть имеет свои разряды, как и любовь; ненависть барона фон Штейна была сильна, как и все, что исходило от этого человека, но источники его ненависти были сложными не только из-за полной противоположности характеров, направлений и действий: непреодолимая вражда отстраненного государственного деятеля, которого мучило жестокое несоответствие между творческой силой и полем деятельности, по отношению к государственному деятелю на вершине власти, к чему он, по убеждению Штейна, а также Гумбольдта, был неспособен. Другие ненавистники, как, например, несколько неорганизованный историк барон Иосиф фон Гормайр, из-за личных мотивов, уязвленной гордости, ожесточения разного рода погрузились в бездну подлости или сбились с пути и в человеческом, и в литературном отношении, как Грильпарцер. Если собрать все его высказывания о Меттернихе, среди которых есть некоторые, претендующие на справедливость, то они будут свидетельствовать – и это самое

мучительное – не о достойном поэта серьезном споре с государственным деятелем, его мыслями, его методами, а будут только собранием злобных, язвительных, часто просто глупых стишков и эпиграмм. Даже там, где Грильпарцер старается быть серьезным (как, например, в его знаменитом сочинении августа 1839 года, когда уже ждали смерти князя), ему недостает меры и ясности в суждениях. В целом это настолько же поучительная, насколько удручающая история: поэт производит дурное впечатление и с художественной, и с интеллектуальной, и с человеческой точек зрения как человек, который выходит на рынок современной истории, засучивает рукава, опрокидывает ящики и прилавки и при этом надрывается. Гете знал это и потому позволил этому произойти. То, что Меттерних, со своей стороны, не мог “ненавидеть в ответ” – опять-таки не из благородства, а из высокомерия, не усилие над самим собой, просто скука, – еще больше разжигало ненависть врагов, что понятно с психологической точки зрения.

Србик приложил огромные усилия для того, чтобы исследовать все стороны своего героя, не связанные с политикой или, по крайней мере, непосредственно ее не затрагивающие. Ничто не было упущено, пристальное внимание было обращено и на черты лица Меттерниха, и на его библиотеку, и на его отношение к литературе и искусству, музыке и театру, равно как к историографии, естественным наукам, промышленности и технике. Благодаря своей долгой жизни, своему происхождению и общественному положению он знал почти все, что заслуживало внимания в Европе и имело какое-либо значение; а поскольку он к тому же и в силу своей личной склонности, и в силу своей службы был страстным любителем писем, никогда не устававшим вести беседу любого рода, в салоне и в будуаре, в доверенном кругу и на широкой публике, с мужчинами и женщинами, друзьями и врагами любого происхождения, то нет практически ничего такого, о чем он когда-нибудь что-нибудь не сказал бы. Очень многое из этого известно, опубликовано как исторический материал – но что остается за строкой? Источников масса, но картина, которую они рисуют, расплывается. Нет подлинного величия ни в одной детали: высказывается ли он о религии или о поэзии Гете, об истории или финансах, все это – на уровне культурной и образованной посредственности; как государственный деятель – тоже ничего выдающегося в отдельных проектах и действиях: его европейская, австрийская и германская политика по духу и стилю застыла на уровне XVIII века. И тем не менее здесь снова целое – больше, чем сумма частей. Фигура Меттерниха – это исторический феномен первого ранга, ставший

плотью и кровью синтез всех сил старой Европы – и в плохом, и в хорошем. Чем больше занимаешься им, тем больше это напоминает гигантский стоячий водоем, скорее широкий, нежели глубокий, в глубине которого мерцает разнообразное дно и в котором отражаются небеса и берега. Так и в Меттернихе присутствовало “вчера”, которое везде чувствовалось, но нигде больше нельзя было застать его; так и он стоял перед “завтра”, которое его коснулось, но не смогло завоевать для себя. Он был живым засовом между двумя веками. Если сегодня многие его действия кажутся оправданными, то это происходит из-за не зависящей от времени действенности некоторых его фундаментальных принципов и из-за того, что в ограниченном количестве исторических коллизий Европы и вообще совместного существования людей они все время проходят красной нитью.

notes

Notes